

ЭМИЛЬ АЖАР  
РОМЕН ГАРИ

Вся жизнь впереди



im WERDEN VERLAG  
DALLAS AUGSBURG 2003

Эмиль Ажар  
*Вся жизнь впереди*  
Перевод с французского

Emile Ajar  
*La vie devant soi*

The book may not be copied in whole or in part.  
Commercial use of the book is strictly prohibited.  
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Mercure de France, 1975  
©Издательство Симпозиум, 2000  
©Л. Цывьян, перевод , 2000  
©«Im Werden Verlag», 2003  
<http://www.imwerden.de>  
[info@imwerden.de](mailto:info@imwerden.de)

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon [books@tumana.net](mailto:books@tumana.net)  
Generated by L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>

Они сказали мне: «Ты стал безумен  
из-за Того, кого ты любишь».  
Я им сказал: «Одним безумцам дано  
изведать сладость жизни».

*Йаффи'и. «Благоуханные сады базилика в  
рассказах о праведниках»*

Первое, что я могу вам сказать: жили мы на седьмом без лифта, так что переть приходилось пехом, и для мадам Розы, при всех килограммах, что она на себе таскала, а ногі у нее всего две, и при всех ее заботах и неприятностях, это была причина постоянных жизненных неудобств. Она поминала нам об этом всякий раз, когда не причитала над чем-нибудь другим, потому как была она к тому же еще и настоящая еврейка. Здоровьем она тоже похвастаться не могла, и я вам сразу должен сказать еще одно: уж эта-то женщина заслуживала лифта.

Мне было, наверно, года три, когда я впервые увидел мадам Розу. А что было до того, я не помню, прямо как отрубил. Отруб этот кончился в три, а может, в четыре года, и мне иногда просто страсть как не хватает воспоминаний.

В Бельвиле полно было других евреев, арабов и черных, но пешком перлась на седьмой одна мадам Роза. Она говорила, что когда-нибудь помрет на лестнице, и вся малышня тут же принималась реветь, потому что, когда кто-то умирает, всегда полагается реветь. Нас там было шестеро, семеро, а иногда и больше.

Сперва-то я не знал, что мадам Роза заботится обо мне только потому, что в конце месяца ей приходит перевод. А известно мне это стало лет в шесть или семь, и для меня это был удар: за меня платят. Я ведь думал, что мадам Роза меня любит просто так, задарма, и мы друг для друга родные. Я проплакал всю ночь, и это было мое первое большое горе.

Мадам Роза заметила, что я грустный, и объяснила, что семья – это еще ничего не значит и бывают люди, которые уезжают в отпуск, бросая своих собак, привязанных к дереву, и что каждый год так подышают три тысячи собак, потому что хозяева о них не заботятся. Она посадила меня к себе на колени и клялась, что на целом свете у нее нет никого дороже меня, но я вспомнил про перевод и с ревом убежал.

Я спустился вниз, в кафе мосье Дриса, и подсел к мосье Хамилю, который был бродячим торговцем, продавал во Франции ковры и много чего повидал. У мосье Хамиля красивые глаза, он ласково на всех смотрит. Он уже был здорово старый, когда я с ним познакомился, а с тех пор он только и делал, что старился и старился.

– Мосье Хамиль, почему вы всегда улыбаетесь?

– Так, малыш Момо, я каждый день благодарю Бога за то, что он дал мне хорошую намять.

Мое имя Мохаммед, но все меня зовут Момо, так короче.

– Шестьдесят лет назад, когда я был молод, я встретил молодую женщину, которая любила меня, и я тоже ее любил. Это продолжалось восемь месяцев, но потом она сменила заведение, а я, хоть прошло шестьдесят лет, все ее помню. Я сказал ей: я тебя не забуду. Годы шли, а я ее не забывал. Правда, иногда мне становилось страшно: ведь передо мной была еще долгая жизнь, и какие я, маленький человек, мог давать себе клятвы, если стиральную резинку держит в руке Бог? Но сейчас я спокоен. Я не забуду Джамилю. Мне осталось уже совсем мало времени, я умру раньше.

Я подумал про мадам Розу, сперва не решался, а потом спросил:

– Мосье Хамиль, а человек может жить без любви?

Он не ответил. Отхлебнул мятного чаю, который страшно полезен для здоровья. С некоторых пор мосье Хамиль всегда носит серую джеллабу, чтобы не оказаться застигнутым врасплох в пиджаке, если его призовут на небо. Он глядел на меня и молчал. Наверно, думал, что я еще малолеток и есть вещи, которые мне знать не полагается. В ту пору мне было семь, а может, даже восемь, точнее я вам сказать не могу, потому как нет у меня даты рождения, и вы это усечете, когда мы познакомимся лучше, если только решите, что в этом есть смысл.

– Мосье Хамиль, почему вы мне не отвечаете?

– Ты еще мал, а есть такие вещи, которые маленьким лучше не знать.

– Мосье Хамиль, можно жить без любви?

– Да, – ответил он и опустил голову, словно ему было стыдно.

Я разревелся.

Очень долго я не знал, что я араб, потому что никто меня так не обзывал. Узнал я об этом только в школе. Но я никогда не дрался; когда кого-то бьют, лучше от этого не бывает, а только хуже.

Мадам Роза, как еврейка, родилась в Польше, но она много лет работала в Марокко и Алжире и арабский знала не хуже нас с вами. Знала она по тем же причинам также еврейский, и мы часто разговаривали на этом языке. Большинство жильцов в нашем доме были чернокожие. На улице Биссон три негритянские общаги, и есть еще две, и там они живут племенами, как заведено у них в Африке. Глазным образом сараколле, их больше всего, но и тукулёров, это у них такое название, тоже немало. На улице Биссон живут много и других племен, но у меня нет времени перечислять их. Остальная часть улицы и бульвара Бельвиль почти вся арабская и еврейская. Так продолжается до улицы Золотой капли, а там уже начинаются французские кварталы.

Сперва я не знал, что у меня нет матери, и даже не имел понятия, что мать должна быть у каждого. Мадам Роза избегала говорить на эту тему, чтобы у меня не завелись в голове всякие там мысли. Я ведь даже не знал, отчего я родился и как это вообще происходит. Мой корешок Дылда, который на несколько лет старше меня, объяснил мне, что все это случается из-за гигиенических условий. Сам он родился в Касбе, в Алжире, и во Францию приехал уже после этого. В Касбе тогда не было никакой гигиены, ни всяких там биде, ни воды для этого и вообще ничего такого, и поэтому он родился. Узнал-то он об этом потом, когда его отец, пытаясь оправдаться, поклялся ему, что он и в голове не держал таких мыслей. Сейчас у женщин, которые работают, сказал мне Дылда, есть таблетки для гигиены, но он родился раньше, чем они появились.

Ко многим у нас матери приходили раз, а то и два в неделю, но только к другим, ко мне – никогда. Почти все мы у мадам Розы были дети шлюх, и когда те уезжали на несколько месяцев в провинцию на заработки, то перед отъездом и после приезда обязательно приходили повидать своих мальцов. Вот так вот у меня и начались всякие огорчения из-за матери. Мне казалось, матери есть у всех, кроме меня. Чтобы она пришла, у меня случались судороги и сводило живот. На другой стороне улицы жил пацан, тот, у которого был мячик, так он мне рассказал, что его мама всегда приходит, когда у него болит живот. Живот у меня болел – ну и что с того? – потом у меня были конвульсии, но тоже зазря. Я даже стал какать в комнатах где попало, чтоб внимание обратили. Никакого толку. Мама не приходила, а мадам Роза впервые обругала меня арабской задницей, потому что она у меня не французская. Я ревел и кричал, что хочу видеть маму, и несколько недель назло продолжал срать на пол. В конце концов мадам Роза сказала, что если так будет продолжаться, то я отправлюсь в приют, и тут я здорово перебздел, потому как приют – это самое страшное для детей. Но я все равно из принципа продолжал гадить на пол, только радости от этого не было. Тогда на пансионе у мадам Розы жило семеро детей шлюх, все они тоже взапуски принялись хезать где попало, потому что малышня – самые большие обезьяны на свете, и куч было столько, что где мои – было уже не отличить.

Мадам Роза уже тогда была старая и без того страшно уставала, она ведь раньше подвергалась преследованиям как еврейка, так что воспринимала она это жутко недовольно. При своих девяноста пяти килограммах и больных ногах она по нескольку раз в день поднималась на седьмой этаж, и когда входила и чувствовала, что пахнет говном, то падала вместе с сумками в кресло и принималась плакать, но ее можно понять. Она говорила, что во Франции живут

пятьдесят миллионов человек, и если бы все они вели себя как мы, то даже немцы ничего не смогли бы сделать и отступили. Во время войны мадам Роза хорошо изучила Германию, но все-таки вернулась оттуда. Вот она входила, чувствовала вонь от нашего сранья и принималась рыдать: «Это Освенцим! Это Освенцим!» – ее ведь вывезли в Освенцим, который был сделан специально для евреев. Но если говорить о расизме, то в этом смысле она всегда была очень корректна. Вот, например, жил у нас такой Мойше, так его она ругала грязным арабом, а меня – ни разу. Тогда я еще не понимал, что при всей ее толщине она очень тонкая. В конце концов я перестал, потому как толку не было никакого, мама не приходила, но спазмы и судороги у меня долго еще продолжались, и даже сейчас живот у меня иногда побаливает. Потом я пытался обращать на себя внимание по-другому. Я стал красть в магазинах – стыришь с прилавка что-нибудь, помидор там или дыню. При этом я всегда дожидался, чтобы кто-нибудь посмотрел на меня, то есть крал на виду. И когда выскакивал хозяин и давал мне затрещину, я принимался реветь, ну и кто-нибудь обязательно проявлял ко мне интерес.

Однажды с прилавка возле бакалейного магазинчика я стянул яйцо. Хозяйка, а хозяйка там была тетка, увидела. Я вообще предпочитал красть у теток, потому как единственное, в чем я был уверен, так это в том, что моя мать – женщина, тетка, по-другому ведь не бывает. Ну, значит, я схватил яйцо и сунул его в карман. Вышла хозяйка, и я уже ждал, что она мне залепит оплеуху и обратит на меня внимание. Но она присела рядом со мной, погладила меня по голове и сказала:

– Ой, какой же ты хорошенький!

Сперва я подумал, что она добротой хочет добиться, чтобы я вернул ей это яйцо, и продолжал держать его в руке в кармане. Вообще-то она должна была дать мне выволочку, то есть наказать, как и положено матери, когда она обращает на вас внимание. Но вместо этого она выпрямилась, прошла за прилавок и дала мне еще одно яйцо. А потом поцеловала меня. На какой-то миг у меня вспыхнула такая надежда, просто передать вам не могу, потому что так не бывает. Все утро я простоял перед магазином, я ждал. Даже не знаю чего. Иногда эта добрая женщина улыбалась мне, а я так все и стоял с яйцом в руке. Мне тогда было лет, наверно, шесть или около того, и я даже поверил было, что у меня начнется другая жизнь, но яйцом все и кончилось. Я возвратился домой, и весь остальной день у меня болел живот. Мадам Роза была как раз в полиции, давала там ложные показания, ее попросила об этом мадам Лола. Мадам Лола – транссвистит, она жила на пятом этаже и работала в Булонском лесу, а до того как переделаться, была в Сенегале чемпионом по боксу; в Лесу она пришибла клиента, который трахал ее по-садистски, потому что не знал, что она боксер. И вот мадам Роза пошла свидетельствовать, что в тот вечер она ходила с мадам Лолой в кино, а потом они вместе смотрели телек. Я еще много чего расскажу вам про мадам Лолу, таких, как она, на свете поискать, и то не найдешь. Мне она поэтому страшно нравилась.

Дети, они жутко заразительные. Если у одного что-нибудь началось, так сразу и у других пошло. Тогда нас у мадам Розы было семеро, из них двое приходили только на день; в шесть утра, когда начиналась уборка мусора, их приводил всем известный мусорщик, мосье Муса, из-за отсутствия жены, которая отчего-то там померла. К вечеру он их забирал и сам уже ими занимался. А у нас жили Мойше, который был еще младше меня, Бананчик – он все время улыбался, потому что родился с хорошим настроением, Мишель, родители у него были вьетнамцы, и, как только мадам Розе перестали за него платить, она ни дня больше не стала держать его. Эта еврейка была добрая женщина, но всему есть пределы. Часто бывало, что женщины, которые работали, уезжали куда-нибудь далеко, где хорошо платили и спрос был большой, а детишек своих оставляли мадам Розе, а потом больше не возвращались. Уезжали, и с концами. Такое часто случается с детьми, которых не хотели и вовремя не смогли абортить. Некоторых мадам Роза пристраивала в семьи, которым было одиноко и которые хотели иметь мальчика, но это было нелегко, потому как есть законы. Если женщине приходится зарабатывать, она не может иметь материнских прав, так полагается в проституции. Потерять работу она боится и потому скрывает своего ребенка, чтобы его не увидели. И тогда она отдает его на пансион к кому-нибудь, кого хорошо знает и в чьем молчании уверена. Не могу даже вам сказать, сколько детишек шлюх перебивало при мне у мадам Розы, но вот таких, как я, которые оказались у нее насовсем, было немного. Дольше всего, если не считать меня, пробыли у нее Мойше, Бананчик и вьетнамец, которого в конце концов взяли в ресторан на улице Мосье Принца, но случилось это так давно, что, повстречайся я с ним сейчас, я бы его не узнал.

Когда я стал требовать маму, мадам Роза обзывала меня капризником и кричала, что все арабы одинаковые – дай им палец, они всю руку оттяпают. Но мадам Роза вовсе не такая, говорила она это по причине предрассудков, и я-то прекрасно знал, что был у нее любимчиком. Когда к начал реветь, другие тоже принимались выть в голос, и мадам Роза оказывалась среди семерых сопляков, которые наперебой с ревом требовали своих матерей, и тут уж вступала она, и это было похоже на припадок коллективной истерики. От такого нашего поведения она рвала на себе волосы, которых у нее и так почти не осталось, и слезы рекой текли у нее по щекам. Она прятала лицо в ладони и долго плакала, но с таким возрастом ничего уж не поделать. Бывало даже, что со стен осыпалась штукатурка, но это вовсе не от слез мадам Розы, а потому что давно не было ремонта.

Волосы у мадам Розы были седые и выпадали, не держались больше на голове. Она страшно боялась облысеть: для женщины, у которой ничего особо другого больше нет, это ужас. Бедро и грудь у нее были такие, что не каждый день встретишь, и когда она смотрелась в зеркало, то всю улыбалась, словно старалась понравиться себе. По воскресеньям мадам Роза разряжалась в пух и прах, надевала рыжий парик, шла посидеть в сквер Болье и такая вся элегантно отсиживала там несколько часов. Штукатурилась она по нескольку раз в день, но чего вы от нее хотите. В парике и со штукатуркой на лице выглядела она еще ничего и всегда приносила домой цветы, чтобы вокруг нее было красиво.

Успокоившись, мадам Роза волокла меня в «одно местечко», ругала зачинщиком и говорила, что зачинщиков всегда наказывают тюремным заключением. Она мне втолковывала, что моя мама видят все, что я тут творю, и если я хочу, чтобы она когда-нибудь вернулась ко мне, то жизнь должен вести честную и безукоризненную, чтоб в никакую детскую преступность не вляпываться. «Одно местечко» было у нас совсем махонькое, мадам Роза из-за толщины целиком не помещалась в нем, и это вообще было интересно, сколько мяса и сала может быть в одном-единственном человеке. Уверен, там она себя чувствовала еще более одинокой.

Когда переводы за кого-нибудь из нас переставали приходиться, мадам Роза не вышвыривала его. Так было и с малышом Бананчиком; отец его был неизвестен, так что претензий предъявлять было не к кому, а мать присылала немножко денег каждые полгода, ну и когда еще. Мадам Роза на чем свет поносила Бананчика, но он на это плевал, потому что ему было всего три года, и потом, он все время улыбался. Думаю, мадам Роза, может, и отдала бы Бананчика в приют, но только без его улыбки, но так как отделить их друг от друга было невозможно, она оставила у себя их обоих, и Бананчика, и улыбку. Мне поручалось водить Бананчика в негритянские общаги на улице Биссон, чтобы он видел черных, мадам Роза считала, что это очень важно.

– Надо, чтобы он видел черномазых, иначе потом он не сможет с ними сойтись.

И вот я брал Бананчика и мы шли. В общагах к нему относились очень хорошо, потому что там жили люди, чьи семьи остались в Африке, а вид чужого мальчика всегда заставляет вспомнить о своих. Мадам Роза в точности не знала, кто по правде Бананчик, которого на самом деле звали Туре, – малиец, сенегалец, гвинеец или еще кто; его мать работала на улице Сен-Дени, а потом отправилась в заведение в Абиджан, а что там и как, при ее профессии навряд ли узнаешь.

За Мойше платили тоже нерегулярно, но тут мадам Роза поделаться ничего не могла, потому как у евреев отдавать в приют не положено. Ну а за меня в начале каждого месяца приходил перевод на триста франков, так что претензий ко мне не было. Думается мне, что у Мойше была мать и она стыдилась, родители ее ничего не знали, она происходила из хорошей семьи, к тому же Мойше был блондин с голубыми глазами, и нос у него вовсе не еврейский рубильник, и это все сразу признавали, стоило только глянуть на него.

Переводы на триста франков за меня, приходившие тик в тик, без всяких задержек, внушали мадам Розе в отношении меня уважение. Мне, значит, было десять, и у меня уже начались всякие там трудности по причине раннего полового созревания, потому что арабы скорее всех начинают хотеть. Так что я знал: для мадам Розы я означая прочное финансовое положение, и она несколько раз подумает, прежде чем лишиться моих денег. Значит, произошло это в «одном местечке», то есть в сортире, когда мне было шесть лет. Сейчас вы скажете, что я путаю возраст, но это не так, и я вам объясню, когда придет время, как мне внезапно прибавилось лет.

– Послушай, Момо, ты здесь самый старший и должен подавать пример, поэтому кончай этот бордель насчет своей матери. Вам повезло, что вы не знаете своих мамочек, ведь в этом возрасте вы еще слишком впечатлительные, а ваши мамочки – шлюхи, детей им иметь не дозволяется, разве только помечтать иногда. Ты-то знаешь, кто такие шлюхи?

– Это которые зарабатывают шахной.

– Интересно бы знать, откуда ты научился таким гадостям, но все равно в твоих словах есть большая доля истины.

– Мадам Роза, а вы тоже, когда были молодая и красивая, зарабатывали шахной?

Она улыбнулась, ей было приятно услышать, что она была молодой и красивой.

– Ты славный малыш, Момо, только постарайся быть послушным. Помогите мне. Я старая и больная. После возвращения из Освенцима у меня одни только неприятности.

Она до того была печальная, что даже незаметно стало, какая она теперь страшилина. Я обнял ее за шею и поцеловал. На улице про нее говорили, что у нее нет сердца, и это правда, потому что не было никого, кто бы о ней заботился. Шестидесят пять лет она продержалась без сердца, и в иные моменты ей это можно было бы и простить.

Она так плакала, что мне даже захотелось отлить.

– Извините меня, мадам Роза, но мне хочется сикать. – А потом я сказал ей: – Ладно,



мадам Роза, я знаю, с мамой ничего не получится, но тогда можно мне завести вместо нее собаку?

– Чего? Чего? Ты считаешь, что здесь еще собаки не хватает? А на какие шиши я буду ее кормить? Кто мне будет переводить на нее деньги?

Но когда я украл в собачьем питомнике на улице Шениль курчавенького серенького щеночка пуделя и притаранил его домой, она не сказала мне ни слова. Я зашел в питомник, умильно, как это я умею, посмотрел на хозяина и спросил, можно ли мне погладить пуделька, и хозяин дал мне его подержать. Я взял щенка, стал его гладить, а потом вместе с ним смылся. Уж что я умею, так это бегать. В жизни без этого нельзя.

С этим щенком было одно сплошное несчастье. Я просто невозможно как полюбил его. Другие тоже, кроме, может, Бананчика, которому на щенка было чихать, он и так был счастлив, без всяких причин; никогда я больше не видел негра, счастливого без всякой причины. Я не выпускал щенка из рук и никак не мог найти ему имя. Стоило мне придумать какое-нибудь – Тарзан или Зорро, и тут же мне начинало казаться, что существует где-то имя, которого нет ни у кого, и оно ждет не дожидается моей собаки. В конце концов я выбрал Супер, по решил, что если найду что-нибудь покрасивее, то перемену. Во мне скопилось столько любви, и я всю ее отдавал Суперу. Он появился у меня в самое время, не знаю, что бы я делал без него, наверно, кончил бы тюрягой. Когда я гулял с ним на улице, я чувствовал себя человеком, потому что кроме меня у него в мире не было никого. Я до того его любил, что даже отдал насовсем. Было мне уже лет девять, а в этом возрасте начинаешь задумываться, за исключением тех минут, когда ты счастлив. Никого не хочу обидеть, но надо сказать, что жить у мадам Розы – жуткая тощища, даже если привык. Так что, когда Супер стал подрастать, я из любви к нему решил обеспечить ему жизнь, какую обеспечил бы себе, если бы была возможность. Хочу обратить ваше внимание, что это был не какой-нибудь уличный пес, а настоящий пудель. И тут подвернулась одна дама, которая запричитала, ой, какая хорошенькая собачка, не моя ли она и не хочу ли я ее продать. Одет я был бедно, да и лицо у меня не типично французское, так что она мигом смекнула: эта собака не для меня.

Я продал Супера за пять сотен, и ему крупно повезло. Пять сотен у этой дамочки я спросил только потому, что хотел быть уверен, что у нее есть башли. Попал я на то, что нужно: у нее была даже машина с шофером, и она сразу же посадила туда Су-пера и закрыла дверцу на случай, если появятся мои родители и поднимут хай. А сейчас я вам расскажу кое-что, хотя вы мне не поверите. Я взял эти пять сотенных и спустил их через решетку в колодец канализации. А потом сидел на тротуаре и ревел как корова, размазывая кулаком слезы, но был счастлив. У мадам Розы при ее старости, болезнях и безденежье никакой уверенности не было, все висело на волоске, к тому же нам грозил приют, так что это была не жизнь для собаки.

Когда я вернулся домой и сказал мадам Розе, что продал Супера за пять сотен, а деньги спустил в канализацию, она перепугалась до посинения, взглянула на меня, побежала в свою конуру и закрылась на два поворота. После этого, ложась спать, она обязательно запиралась на ключ, на случай, чтобы я не перерезал ей ночью горло. Ребятня же, когда узнала, тоже подняла страшный хипеш, хотя Супера они по-настоящему не любили, он им был нужен, только чтобы играть.

Было нас тогда у мадам Розы много, семеро, а может, и целых восемь. Жила Салима; соседи заложили ее мать, что та панельная шлюха, и легавые пришли с обыском, чтобы за ее безнравственное поведение забрать малышку в приют, но матери удалось ее спасти. Она выскочила из-под клиента и помогла дочке, которая была на кухне, а жили они на первом этаже, сбежать через окно, а потом всю ночь прятала ее в мусорном баке. Утром в состоянии полной истеричности она прибежала к мадам Розе вместе с девчонкой, от которой воняло помойкой. Недолго пожил у нас Антуан, настоящий француз, он был один такой, и мы все внимательно разглядывали его, чтобы понять, что в нем особенного. Но ему было всего два года, так что ничего такого мы у него не обнаружили. А остальных я не помню, они все время менялись, матери все время приезжали и забирали их. Мадам Роза говорила, что женщины, которым приходится работать, не имеют моральной поддержки, потому что сотинеры часто не исполняют свои обязанности как полагается. А женщинам их дети нужны, чтобы иметь основу в жизни. Они приходили, когда у них появлялась свободная минута или когда они были

больны, и тогда они, пользуясь этим, забирали детей и отваливали в деревню. Я никогда не мог понять, почему зарегистрированным шлюхам не разрешено воспитывать детей, кому это мешает. Мадам Роза считала, что все дело в том, что во Франции шахна приобрела огромное значение, как ни в какой другой стране, и все это разрослось до таких беспределов, что если собственными глазами не видишь, то и вообразить невозможно. Она говорила, что с Людовика XIV шахна – самое важное во Франции, а проституток, так называются шлюхи, преследуют, потому что порядочные женщины хотят иметь это только для одних себя. Я видел у нас плачущих матерей, на которых наступали в полицию, что у них есть ребенок, а они работают по своей профессии, и они поэтому умирали от страха. Мадам Роза успокаивала их, говорила, что у нее есть комиссар полиции, который сам был шлюхиным сыном, и он ей покровительствует, а еще у нее есть один еврей, который делает фальшивые документы, и документы эти никто распознать не может, настолько они совсем как настоящие. Этого еврея я ни разу не видел, мадам Роза скрывала его. Познакомились они в еврейской общаге в Германии, где их по ошибке не ликвидировали, и после этого они поклялись, что больше их уже не подловят. Еврей жил где-то во французском квартале и без остановки лепил фальшивые бумаги. Это его стараниями у мадам Розы были документы, которые доказывали, что она это не она, а как все другие. Она говорила, что при ее документах даже израильтяне насчет ее не смогут ничего доказать. Само собой, она никогда не была полностью спокойна в этом смысле, потому что полностью спокойными бывают только мертвые. А в жизни всегда есть место страху.

Я вам уже говорил, что малышня несколько часов редела, когда я продал Супера, чтобы обеспечить его будущее, на что у нас он рассчитывать не мог, ревели все, кроме Бананчика; тот был, как всегда, всем доволен и радостен. Уверяю вас, этот паршивец был не от мира сего, ему исполнилось уже четыре года, а он был по-прежнему всем доволен.

На другой день мадам Роза первым делом потащила меня к доктору Кацу, чтобы тот проверил, нет ли у меня каких нарушений. Мадам Роза хотела, чтобы у меня взяли кровь и определили, не сифилитик ли я, как многие арабы, но доктор Кац так рассердился, что у него даже борода затряслась; я забыл сказать, что он носил бороду. Он изругал мадам Розу на чем свет стоит, он кричал, что это чушь собачья, орлеанские слухи. Орлеанские слухи – это про то, что будто бы евреи в магазинах готового платья напичкивают белых женщин наркотиками, а потом продают их в бордели, и все их в этом обвиняли, но про них вообще много всего зря говорят.

Мадам Роза все никак не могла успокоиться.

– Расскажите, как все это в точности происходило.

– Он взял пятьсот франков и бросил их в люк канализации.

– У него это был первый приступ буйства?

Мадам Роза, ничего не отвечая, глянула на меня, а мне было так грустно. Мне никогда не нравилось причинять людям огорчения, я – философ. На камине за спиной доктора Каца стоял кораблик с белыми-белыми парусами, а я был такой несчастный, мне так хотелось свалить отсюда куда-нибудь далеко-далеко, подальше от себя, и я представил, как он мчится, и взошел на него, и пересекал океаны, уверенной рукой управляя им. Пожалуй, на борту парусника доктора Каца я впервые сбежал далеко-далеко. До сих пор я не могу по правде сказать, что я был ребенком. Но и сейчас, когда захочу, я могу подняться на борт парусника доктора Каца и совсем один далеко уплыть на нем. Только я никогда никому об этом не рассказывал и всегда старался делать вид, будто я здесь.

– Доктор, умоляю вас как следует обследовать этого мальчишку. Из-за сердца вы запретили мне волноваться, а он продал самое дорогое, что у него было в мире, и выбросил пятьсот франков в канализацию. Даже в Освенциме такого не проделывали.

Доктор Кац был хорошо известен своим христианским милосердием всем евреям и арабам, живущим в окрестностях улицы Биссон, он лечил всех с утра до вечера, а бывало, и позже. Я сохранил о нем самые лучшие воспоминания, это было единственное место, где говорили обо мне и осматривали меня, как будто я был важной птицей. Я часто приходил туда один, и не потому, что был болен, а просто чтобы посидеть в ожидальне. И проводил там некоторое время. Доктор Кац видел, что я пришел просто так и занимаю стул, хотя в мире столько несчастья, но он мне ласково всегда улыбался и не сердился. Глядя на него, я не раз думал, что если бы у меня был отец, то лучше бы это был доктор Кац, я выбрал бы его.

– Он просто невозможно любил эту собаку, не спускал ее с рук, даже когда она спала, и что после всего этого сделал? Продал, а деньги выбросил. Доктор, этот ребенок не похож на других. Я боюсь внезапного помешательства, как было у него в семье.

– Мадам Роза, могу вас заверить, что ничего подобного не произойдет.

Я расплакался. Я отлично знал, что ничего не произойдет, но тогда я впервые услышал, как об этом говорят в открытую.

– Послушай, Мохаммед, у тебя нет никаких причин плакать. Но если тебе от этого легче, поплачь. Вообще он часто плачет?

– Да никогда, – отвечала мадам Роза. – Этот ребенок никогда не плачет, и все равно одному Богу известно, как я мучаюсь.

– Ну вот видите, – сказал доктор, – все идет на улучшение. Он плачет. Развивается он нормально. Вы правильно сделали, мадам Роза, что привели его ко мне, я пропишу вам транквилизаторы. Это чтобы избавить вас от чувства беспокойства.

– Ах, доктор, когда занимаешься детьми, приходится столько беспокоиться, а иначе они вырастут шпаной.

Уйдя от доктора, мы шли по улице, и мадам Роза держала меня за руку, она любила показываться в чьем-нибудь обществе. Перед выходом из дома она всегда долго наряжалась, потому что как-никак она была женщина и немножко этого у нее еще осталось. Штука-турилась она здорово, только скрыть возраст ей это не помогало. При ее астме и в очках физиономия у нее была как у старой еврейской жабы. А когда она поднималась с продуктами по лестнице, то все время останавливалась и стонала, что когда-нибудь помрет на полпути, как будто подняться на седьмой и помереть там было бы лучше.

А дома нас ждал мосье Н'Да Амеди, кот, как иногда называют сотинеров. Если вы знакомы с нашими местами, то знаете, что там всегда полно туземцев, которые приезжают сюда со всей Африки, как указывает их название. У них много общаг, которые называют трущобами, где они лишены условий первой необходимости, таких, как гигиена и отопление от города Парижа, потому что он этим не желает заниматься. В некоторых негритянских общагах их набивается человек сто двадцать, по восемь душ в комнате, и всего один сортир внизу, так что по большому и по малому они бегают куда попало, потому что это дело отлагательства не терпит. Еще до меня существовали бидонвилли, но Франция велела их снести, потому что вид у них не соответствующий. Мадам Роза рассказывала, что в Обервилье была общага, где сенегальцы угорели до смерти от угольных печек, которые они поставили в комнате, а окна были закрыты, так что утром всех их нашли мертвыми. Они задохнулись от вредных газов, что шли из печки, пока они спали сном праведников. Я часто заглядывал в общагу к неграм на углу улицы Биссон, и меня всегда очень хорошо принимали. В большинстве случаев они там все были мусульмане, как и я, но причина вовсе не в этом. Думаю, им приятно было видеть девятилетнего пацана, у которого еще никаких взглядов нет в голове. У стариков в голове вечно какие-то взгляды. Например, неправда, что все негритосы похожи друг на друга.

Если привыкнуть к черным, то мадам Самбор, которая стряпает им жратву, совсем не похожа на мосье Диа. Мосье Диа вовсе не такой уж страшный. Но глаза у него были такие, что на кого хочешь страх нагоняли. Он все время читал. А еще у него была бритва прямо сумасшедшей длины, и она не складывалась, если нажать на одну там кнопку. Я думаю, он пользовался ею для бритья, но кто его знает. В общаге их там жило человек пятьдесят, и все они подчинялись ему. А когда он не читал, то делал на полу упражнения, чтобы стать еще сильней. Он и так был сильный что надо, но ему казалось мало. Я никак не понимал, зачем человек, у которого силы и так полно, делает упражнения, чтобы набрать ее еще больше. У него, конечно, я не спрашивал, но думаю, он считал, что у него недостаточно силы для того, что он хотел сделать. Мне тоже иногда просто до смерти хочется быть силачом. Бывают моменты, когда я мечтаю стать легавым и больше никого и ничего в жизни не бояться. Много времени я проводил, крутясь около комиссариата полиции на улице Дедон, но без всякой надежды: я знал, что в девять лет это невозможно, я был еще слишком мал. А легавым я мечтал быть потому, что у них есть силы безопасности. Думал, что это и есть самое сильное, больше этого ничего уже нет, и не знал, что существуют еще комиссары полиции. И только потом, гораздо позже, узнал, что есть которые куда главней, но, правда, подняться до префекта полиции никогда не мог, для этого мне не хватало воображения. Было мне, не знаю, восемь, девять или десять лет, и я жутко боялся остаться на свете без никого. Чем тяжелей мадам Розе становилось подниматься на седьмой этаж, чем дольше после этого она сидела в кресле, тем меньше я казался себе, и мне становилось страшно.

Существовала также проблема с годом моего рождения, которая здорово мучила меня, особенно после того как меня вышибли из школы, заявив, что я слишком мал для своего возраста. Но в любом случае значения это не имело, свидетельство, в котором было записано, когда я родился и что со мной все в порядке, все равно было фальшивым. Как я вам уже сообщал, в доме у мадам Розы таких документов было хоть завались, и она запросто могла доказать, что никогда не была еврейкой, причем во многих поколениях, если бы мусора вдруг устроили шмон, чтобы заловить ее. Она обезопасилась со всех сторон, после того как французская полиция, которая работала на немцев, неожиданно зацапала ее и отправила на велодром для евреев. Потом ее отвезли в Германию, в еврейскую общагу, где их там сжигали. Мадам Роза все время безала, но не как бояться все люди, а в сто раз сильней, это был жуткий

страх.

Однажды ночью я услышал, что она орет во сне, проснулся и увидел, как она встает. У нас было всего две комнаты, и в одной спала только она, за исключением тех дней, когда была толкучка, и тогда она брала к себе меня и Мойше. Но в тот раз Мойше отсутствовал, он жил в одной бездетной еврейской семье, которая заинтересовалась им и взяла к себе на подержание, чтобы посмотреть, стоит ли его усыновлять. Вернулся он к нам совсем измученный, так он старался им понравиться. Они держали лавку с кошерной жратвой на улице Тьенне.

Когда мадам Роза закричала, я проснулся. Она зажгла свет, и я приоткрыл один глаз. Голова у нее тряслась, а глаза были такие, словно она невеста что увидела. Потом она слезла с кровати, надела халат и взяла ключ, который был спрятан под шкафом. Когда она нагнулась за ним, задница у нее показалась еще больше, чем всегда.

Она вышла на лестницу и стала спускаться. Я поперся за ней, потому что она была так напугана, что я побоялся остаться один.

Мадам Роза спускалась по лестнице то при свете, то в темноте; управляющий домом большая сволочь, и автоматическое выключение света срабатывает у нас очень быстро из экономических соображений. Один раз, когда свет потух, я с дурака включил его, и мадам Роза – она была этажом ниже – заорала, видно, решила, что кто-то есть на лестнице. Она смотрела вверх, вниз, а потом опять стала спускаться, и я тоже, но к выключателю больше не прикасался, мы уже с ней оба трусили. Я вообще не понимал, что происходит, то есть еще меньше, чем всегда, а от этого обычно бывает еще страшнее. Поджилки у меня тряслись, страх было смотреть, как старая еврейка с осторожностью индейца спускается по лестнице, точно на ней полно врагов, а то и еще кого похуже.

Добравшись до первого этажа, мадам Роза на улицу не вышла, а повернула палево, к лестнице в подвал, где не было электричества и даже летом было темно. Нам мадам Роза ходить в подвал строго-настрога запрещала, потому что в таких местах как раз обычно и придушивают маленьких детей. Когда мадам Роза ступила на эту лестницу, я решил, все, капец котенку, она спятила, и хотел бежать будить доктора Каца. Но тут на меня такой страх напал, что я замер и боялся пошелохнуться: я был уверен, что стоит мне дернуться, как все монстры завоют и разом бросятся на меня со всех сторон, вместо того чтобы привычно прятаться, как они это делали с самого дня моего рождения.

И тут я заметил слабый такой свет. Он шел из подвала, и это меня немножко успокоило. Монстры редко когда зажигают свет, они любят темноту, им в ней привычнее.

Я спустился в подвальный коридор; там воняло мочой, и не только, потому что рядом в общаге на сотню негров всего один сортир, так что они облегчались где только могли. Подвал был разделен на множество каморок, и одна из дверей была открыта. В нее-то и вошла мадам Роза, и оттуда сочился свет. Я заглянул в нее.

Посередине стояло красное кресло, продавленное, засаленное, грязное, и в нем сидела мадам Роза. Камни там торчали из стен, как зубы, когда человек гогочет. А на комод – еврейский подсвечник на семь свечей, но горела только одна. Больше же всего меня поразила кровать, хоть сейчас на выброс, но с матрацами, одеялами и подушками. Еще там были мешки с картошкой, бидоны, печурка и картонные коробки, полные банок сардин. Я был до того удивлен, что даже перестал трусить, правда, зад у меня был голый, я выскочил без штанов и начал мерзнуть.

Какое-то время мадам Роза сидела в этом помойном кресле и счастливо улыбалась. Вид у нее был злорадный и даже торжествующий. Словно она ловко провернула какое-то удачное дельце. Потом она встала. В углу стояла метла, и мадам Роза принялась подметать подвал. Подметать – дело хорошее, но при этом поднимается пыль, а для мадам Розы с ее астмой нет

ничего хуже пыли. Ей сразу же стало трудно дышать, в бронхах захрипело, но она продолжала мести, и некому, кроме меня, ей было сказать об этом, потому что всему миру на нее начхать. Само собой, ей платили за то, что она заботилась обо мне, и общее у нас только то, что никого и ничего ни у меня, ни у нее не было, но при ее астме пыль – это самое скверное, хуже не бывает. А потом она поставила метлу в угол и попыталась задуть свечу, но ей внутри не хватало воздуха, несмотря на ее толщину. Тогда она посплюнула пальцы и погасила свечку. Я тут же дернул наверх, поняв, что она закончила и сейчас будет подниматься.

Правда, я ничего не понял, но это было не единственное, чего я не понимал. Я ломал себе голову, по какой такой причине она была так довольна, оттого что ночью спустилась на семь этажей и надышалась пылью, и отчего у нее был такой хитрющий вид.

Когда она вернулась, она уже не боялась, и я тоже, потому что страх ведь передается от человека к человеку. А потом мы снова заснули и спали сном праведников. Я много размышлял над этими словами и считаю, что мосье Хамиль не нрав, когда так говорит. Я думаю, крепче всех спят как раз неправедные, потому что они на все кладут с прибором, а вот праведники как раз не могут сомкнуть глаз и из-за любой малости портят себе кровь. Иначе они не были бы праведниками. У мосье Хамиля полно выражений, какие не от каждого услышишь, вроде «поверьте моему давнему опыту» или «как я имел честь объявить вам», и еще куча других; они мне все страшно нравятся, и из-за них я все время вспоминаю его. Он вообще был человек, каких еще поискать. Мосье Хамиль научил меня писать «на языке моих предков»; он всегда говорил «предков», потому что о моих родителях он даже не хотел упоминать. Он заставлял меня читать Коран, и мадам Роза говорила, что это на пользу арабам. Когда я у нее спрашивал, откуда ей известно, что меня зовут Мохаммед и я правоверный мусульманин, если у меня не было ни отца, ни матери и никаких документов, которые подтверждали бы это, она сразу начинала юлить и говорила: вот когда я вырасту и стану покрепче, она мне все расскажет, а пока что не хочет наносить мне жестокий удар, потому как я еще очень впечатлительный. Она всегда утверждала, что первое, что нужно щадить у детей, так это впечатлительность. Но если бы я и узнал, что моя мама зарабатывала шахной, мне это было бы все равно, я ее любил бы, заботился бы о ней и был бы для нее хорошим сотинером, таким, как мосье Н'Да Амеди, о котором я буду иметь честь рассказать вам. Я был очень рад, что у меня есть мадам Роза, но вот гадом мне быть, я не отказался бы, если бы можно было иметь кого-нибудь получше, кого-нибудь, кто больше бы мне подходил. Я мог бы заботиться и о мадам Розе, даже если бы у меня была настоящая мама, о которой я должен был бы заботиться. У мосье Н'Да Амеди тоже много женщин, которым он оказывает покровительство.

Но раз мадам Роза знала, что я – Мохаммед и мусульманин, значит, ей было известно мое происхождение и что я не из-под хвоста собаки выпал. И желал знать, кто моя мама и почему она не приходила повидать меня. Однако мадам Роза с ходу начинала разводить сырость и жаловаться, что я неблагодарный, у меня нет к ней никаких чувств и я готов ее променять на кого попало. Ну я сразу и замолкал в тряпочку. Само собой, я понимаю, что есть какая-то тайна, когда женщина, которая по жизни работает, рождает ребенка, потому как вовремя не успела предотвратить это с помощью гигиены, и вот так появляются дети шлюх, по-французски – шлюхины отродья, но странно, что мадам Роза на все сто уверена, что я – Мохаммед и мусульманин. Не нарочно же она это придумала, чтобы доставить мне удовольствие. Однажды я завел об этом разговор с мосье Хамилем, когда он рассказывал биографию Сиди Абдеррахмана, покровителя Алжира.

Мосье Хамиль приехал к нам из Алжира, где в тридцать лет совершил паломничество в Мекку. Сиди Абдеррахман Алжирский его любимый святой, потому что, как он говорит, своя рубашка ближе к телу. Но у мосье Хамиля есть также ковер, где изображен другой его

соотечественник, Сиди Уали Дада; он там сидит на своем молитвенном коврике, который несут рыбы. Такое может показаться несерьезным: рыбы тащат по воздуху ковер, но это религия, а против нее не попрешь.

– Мосье Хамиль, как же так получается: известно, что я Мохаммед и мусульманин, а у меня нет ничего, что бы это доказывало?

Всякий раз, когда мосье Хамиль хочет сказать, да исполнится воля Божья, он поднимает руку.

– Мадам Роза получила тебя, когда ты был совсем маленький, а свидетельства о рождении у нее нету. После тебя, малыш Мохаммед, к ней приносили многих детей, и вообще она столько их перевидала. Она хранит профессиональную тайну, потому что многие дамы требуют секретности. Тебя она записала Мохаммедом, то есть мусульманином, и после этого тот, кто произвел тебя на свет, больше не подавал признаков жизни. Единственное свидетельство, что он жил, это ты, малыш. Ты красивый мальчик. Вероятней всего, твой отец был убит на алжирской войне, а это очень благородно и прекрасно. Он – герой борьбы за независимость.

– Мосье Хамиль, я предпочел бы иметь отца, а не героя борьбы за независимость. Пусть бы он лучше был хорошим сотинером и заботился бы о моей маме.

– Нет, малыш Мохаммед, ты не должен так говорить, нельзя забывать про югославов и корсиканцев, ведь что бы ни сделали, все валят на нас. В этом квартале очень трудно воспитывать ребенка.

Но у меня было впечатление, что мосье Хамиль что-то знает, только не говорит мне. Человек он был хороший, и, если бы ему не пришлось всю жизнь торговать коврами в разнос, он, наверно, стал бы кем-нибудь поважнее, а может, даже тоже сидел бы на коврике, который несут по воздуху рыбы, как тот магрибский святой Сиди Уали Дада.

– Мосье Хамиль, а почему меня не отдали в школу? Мадам Роза говорила мне, что сперва оттого, что я был слишком маленький для своего возраста, потом оттого, что я был старше своего возраста, а потом оказалось, у меня совсем не тот возраст, какой должен быть, и она повела меня к доктору Кацу, и он сказал ей, что я, вероятней всего, буду не похожим на других, точь-в-точь как великий поэт.

Мосье Хамиль выглядел жутко печальным. Это потому, что у него такие глаза. Вообще самое печальное у людей – это глаза.

– Ты, Мохаммед, очень впечатлительный ребенок. И поэтому ты не совсем такой, как другие. . . – Он улыбнулся. – Но от впечатлительности в наши дни не умирают.

Говорил он по-арабски, а это совсем не то, что по-французски.

– Мосье Хамиль, а может, мой отец был знаменитый бандит и все боятся его и даже боятся о нем говорить?

– Да нет, Мохаммед, нет, можешь мне поверить. Я никогда ничего такого не слышал.

– А что вы тогда слышали, мосье Хамиль?

Он опустил глаза и вздохнул:

– Ничего.

– Ничего?

– Да, ничего.

Со мной это обычное дело. Всегда ничего.

Урок кончился, и мосье Хамиль стал рассказывать про Ниццу, а я этот его рассказ больше всего люблю. Когда он говорит про клоунов, которые пляшут на улицах, и про веселых великанов, восседающих на повозках, мне становится так хорошо. И еще мне нравятся мимозовые рощи, что там растут, и пальмы, и белые-белые птицы, которые хлопают крыльями, как будто



аплодируют, до того им весело. Как-то я подговорил Мойше и еще одного моего дружка, имени я его уже не помню, отправиться пешком в Ниццу и жить там в мимозовом лесу охотой. Мы сбежали утром, дошли до площади Пигаль, но тут нам стало страшно, потому что это очень далеко от дома, и мы вернулись. Мадам Роза кричала, что она чуть с ума не сошла, но она всегда так говорит.

Так вот, как я уже имел честь, когда мы с мадам Розой вернулись после того визита к доктору Кацу, у нас дома был мосье Н'Да Амеде, а одевается он с таким форсом, что вы и вообразить себе не можете. Это самый главный сотинер и кот среди всех парижских негров, а к мадам Розе он ходил, чтобы она писала от него письма его семье. Никому другому он не хотел признаваться, что не умеет писать. Он носил костюм из самого розового шелка, какой только можно найти, розовую шляпу и розовую рубашку. Галстук у него тоже был розовый, и в этом наряде все на него обращали внимание. Приехал он к нам из Нигера, это одна из многочисленных стран в Африке, и сам себя сделал. Он все время это повторял: «Я сам себя сделал» – в этом розовом костюме и с кольцами с бриллиантами на каждом пальце. Да, у него на каждом пальце было по кольцу, и когда его убили и бросили в Сену, то отрубили все пальцы, чтобы кольца не пропали, а пришили его, потому что сводили счеты. Я рассказываю вам это прямо сейчас, чтобы потом вы не переживали. А пока он был живой, ему принадлежали двадцать пять метров панели на площади Пигаль, и ногти он себе красил у маникюршиц тоже розовым лаком. Да, чуть не забыл, еще он носил жилет. Он все время притрагивался кончиком пальца к усикам так нежно-нежно, как будто ласкал их. Мадам Розе он приносил в подарок чего-нибудь вкусенького, но она предпочитала духи, потому что боялась еще больше растолстеть. Не помню, чтобы от нее когда-нибудь плохо пахло, если не считать последнего времени. Так что для мадам Розы самым лучшим подарком были духи, и флаконов этих духов у нее было не сосчитать, но только я никогда не понимал, почему она всегда духами мазала за ушами. А этот черный, о котором я вам рассказываю, то есть мосье Н'Да Амеде, был настоящий неграмотный, а когда он стал важной птицей, ему уже было поздно идти в школу. Я не собираюсь читать вам лекцию по истории, но негры, они много пострадали, так что при случае их можно понять. Вот поэтому мосье Н'Да Амеде приходил к мадам Розе, чтобы она писала письма, которые он посылал в Нигер своим родителям, фамилию которых он знал наизусть. Расизм у них там был до того страшный, что они подняли революцию и установили режим – и после этого перестали мучиться. Я-то на расизм никогда не жаловался, так что не знаю, чего мне от него ждать. Но вообще-то у негров, наверно, полно и других недостатков.

Мосье Н'Да Амеде усаживался на кровати, на которой мы спали, когда нас было не больше трех или четырех, а когда больше, то нас с Мойше мадам Роза брала к себе. А иногда он вскакивал на кровать с ногами и, стоя, втолковывал мадам Розе, что она должна рассказать в письме его родителям. Разговаривая, мосье Н'Да Амеде размахивал руками, входил в раж, начинал злиться и даже приходил в ярость, но вовсе не потому, что он был бешеный, а потому, что ему хотелось многое сообщить родителям, но при его слабых возможностях он не мог этого выразить. Письмо всегда начиналось с обращения к дорогому и почитаемому отцу, но вскорости он начинал беситься: сердце его было полно самыми лучшими чувствами, но слов для них у него не находилось, и потому они там и оставались. Не умел он высказать их, потому как ему нужно было, чтобы каждое слово было из золота и бриллиантов. Мадам Роза писала письма, в которых он занимался самообразованием, чтобы стать производителем общественных работ, научиться строить плотины и сделаться благодетелем своей родной страны. Когда она ему читала все это, он получал большое удовольствие. Мадам Роза заставляла его в письмах строить дороги, мосты и вообще все, что положено. Ей нравилось, когда мосье Н'Да Амеде, слушая про все то, чем он занимался в письмах, радовался, и он всякий раз клал в конверт деньги, чтобы это выглядело правдоподобно. В своем розовом костюме, купленном на Елисейских полях, а может, где еще покруче, он был в полном восторге, и мадам Роза потом говорила, что, когда он слушает, у него глаза истинно верующего и что чернокожие

из Африки, потому как есть и не из Африки, это самые лучшие среди негритосов. Истинные верующие – это люди, которые верят в Бога, как мосье Хамиль; он мне все время про него рассказывал и объяснил, что существуют вещи, которые нужно выучить, пока ты еще молод и способен заучить все, что угодно.

У мосье Н'Да Амеди в галстук был бриллиант, и он здорово сверкал. Мадам Роза говорила, что это настоящий, а не какой-нибудь там фальшивый, как можно было бы думать, потому что такая мысль первой появляется в голове. Дедушка мадам Розы со стороны матери занимался бриллиантами, так что она кое-чего в этом смыслила. Бриллиант был в галстук, то есть ниже лица мосье Н'Да Амеди, которое тоже сверкало, верней, блестело, но по другим причинам. Мадам Роза никогда не помнила, что она писала в Африку его родителям в последнем письме, но это не имело значения, она говорила, что чем больше пускаешь пыли, тем больше верят. Надо сказать, мосье Н'Да Амеди тоже не придирался, ему было все равно, главное, чтобы родители были счастливы. Случалось, он вообще забывал о них и начинал говорить про то, кем он стал и кем он еще будет, дай срок. Я никогда больше не видел человека, который так говорил бы о себе и так заливал. Он кричал, что все его уважают, ходят перед ним на цирлах и что он король. Правда, правда, он орал: «Я – король!» – и мадам Роза записывала это в письмо вперемешку с мостами, дорогами и всем прочим. А потом говорила мне, что мосье Н'Да Амеди полный *мишуге*, по-еврейски это сумасшедший, правда сумасшедший не опасный, главное не перечить ему, а не то можно нарваться на неприятности. Похоже, он уже кое-кого пришил, но только негров, у которых не было документов, потому что они были не французы, в отличие от американских негров, которые все американцы, так что это были негритянские разборки, а полиции они до фонаря, она занимается только теми, у кого есть настоящие документы и кто тут живет легально. Однажды он чего-то не поделил не то с алжирцами, не то с корсиканцами, и мадам Розе пришлось писать в Африку письмо, которое не доставило счастья его родителям. Так что не стоит думать, будто у сотинеров не бывает проблем, их у них, как у всех людей, полно.

Мосье Н'Да Амеди всегда сопровождали два телохранителя, потому что у него были враги и ему приходилось остерегаться. А телохранители эти были такие, про которых говорят: «Поскорей бы их Господь на небо прибрал»; рожи страшные, глянешь, и прямо жуть берет. Один – бывший боксер, его, видно, столько молотили по морде, что все там сошло со своих мест: глаз опустился, нос расплющен, а бровей вообще нет, должно быть, ему не раз кровянили надбровные дуги, и арбитру приходилось останавливать матч, да и второй глаз был тоже не в порядке, словно, когда ему дубанули в тот глаз, этот вылез из орбиты. Но кулаки у него были дай Боже, но не только они, но и ручки тоже, я ни у кого таких длинных не видел. Мадам Роза говорила, что, когда много спишь, быстрее растешь, так у этого мосье Боро кулачищи, видать, всю жизнь дрыхли, такие они были здоровенные.

У второго телохранителя морда была не разбитая, а жаль. Я вот, например, не терплю людей, у которых вывеска все время меняется и каждую секунду на ней другое выражение. Это называется фальшивая морда, и на такое бывают, само собой, причины, у кого их нет, но все стараются это скрывать, только у этого, я вам точно клянусь, рожа была до того криводушная, что волосы на голове вставляли дыбером, стоило лишь подумать, что он там внутри себя прячет. Вы понимаете, что я хочу сказать? К тому же он всю дорогу мне улыбался, и хотя это неправда, будто негры едят детей, это все бабушкины сказки, но у меня было впечатление, что я возбуждал у него аппетит, и потом, у себя в Африке они все-таки были людоедами, этого у них не отнимешь. Когда я проходил мимо, он хватал меня, сажал к себе на колени, говорил, что у него тоже есть мальчонка моих лет и он купил ему ковбойский пояс с кобурой и кольцом, о каком я всегда мечтал. Настоящая сволочь. Может, в нем и было

что-то хорошее, как во всяком человеке, ежели хорошенько покопаться, но на меня его глаза, которые каждую секунду меняли выражение, нагоняли жуткий страх. Видно, он это знал, потому что однажды принес мне пакетик фисташек, так он здорово притворялся. Правда, что такое фисташки, которым цена-то один франк? И если он надеялся ими втереться ко мне в дружбу, то он здорово просчитался, можете мне поверить. А рассказываю я вам об этом так подробно, потому что вот в этих не зависящих от моей воли обстоятельствах у меня случился новый приступ ярости.

Мосье Н'Да Амеде всегда приходил диктовать по воскресеньям. В этот день женщины не работают, у них выходной, и одна или две обычно прибегали к нам, чтобы забрать своих мальцов, повести их подышать свежим воздухом в общественный сад или с ними пообедать. Могу вас заверить, что женщины, которые зарабатывают шахной, иногда оказываются лучшими на свете матерями, потому как это передышка от клиентов, а потом собственный малыш дает им надежду на будущее. Нет, есть, разумеется, которые и бросают, не будем об этом умалчивать, но это может означать, что они умерли или у них есть важные оправдания. Некоторые приводили своих детей только в понедельник к полудню, хотели, прежде чем опять начать работать, как можно дольше побыть с ними. Но в тот день у нас дома были только те, кто жил постоянно, а это значит в основном я и Бананчик, за которого не платили больше года, но ему было хоть бы хны, и чувствовал он себя отлично. Был еще и Мойше, но он находился на проверке в одной еврейской семье, как я уже имел честь, и она хотела только убедиться, что у него нет ничего вредного наследственного, потому что это первое дело, о котором надо подумать, прежде чем полюбить ребенка, если не хочешь потом занять крупных неприятностей. Доктор Кац выдал ему свидетельство, но они хотели сперва присмотреться, прежде чем кинуться в омут. Бананчик был еще счастливей, чем всегда: он только что открыл, что у него есть писька, и всю интересовался ею. А я учил одну белиберду, в которой совершенно ни фи́га не понимал, но мосье Хамиль собственноручно написал мне ее, так что понимаю я или нет, не имело никакого значения. Я и сейчас могу повторить ее наизусть, ему это было бы приятно: «Elli habb allah la ibri ghirhou soubhan ad daim la iazoul. . . » А означает это: «Тот, кто любит Бога, никого другого, кроме Него, не хочет». Ну, я чего-нибудь, может, и захотел бы, но мосье Хамиль велел мне изучать мою религию, потому что, даже если я останусь во Франции до самой смерти, как мосье Хамиль, я не должен забывать, что у меня есть моя родная страна, а это все-таки лучше, чем ничего. Моя родная страна – это, наверно, какая-нибудь вроде Алжира или Марокко, и, даже если никаких в смысле меня документов нет, мадам Роза была убеждена в этом: не ради же собственного удовольствия она воспитала меня как араба. А еще она говорила, что для нее без разницы: в дерьме все равны, и если арабы и евреи квасят друг другу морды, то это вовсе не значит, что они отличаются от других, за исключением, может быть, немцев, просто тут действует братство. Да, я забыл вам сказать, что мадам Роза держала под кроватью портрет мосье Гитлера, и, когда ей совсем было худо, совсем немоготу, она вытаскивала портрет, смотрела на него и сразу чувствовала облегчение – как бы одной бедой становилось меньше.

Могу сказать в оправдание мадам Розы, что она была святая женщина, хоть и еврейка. Само собой, жратву она нам покупала самую дешевую, а уж с этим рамаданом устраивала мне такое, что просто гаси свет. Можете себе вообразить, двадцать дней без кормежки, для нее это была манна небесная, и у нее был такой торжествующий вид, когда наступал этот рамадан и мне нельзя было взять в рот ни кусочка *гефилте фиш*, которую она сама готовила. Эта толстуха уважала чужую веру, но я собственными глазами видел, как она хавала ветчину. А когда я говорил, что ей нельзя ветчину, она только смеялась. Я не мог ей помешать измываться надо мной в рамадан, так что приходилось воровать жратву по магазинам в тех кварталах,

где не знали, что я араб.

Так вот, было воскресенье, и мадам Роза все утро проплакала; бывали дни, когда она без всяких видимых причин всю дорогу заливалась слезами. Приставать к ней, когда она разводила сырость, не рекомендовалось, это были ее лучшие моменты. Во, я еще вспомнил, что утром маленький вьетнамец получил по заднице, потому что всякий раз, когда звонили в дверь, он прятался под кровать: за три года он переменял уже семей двадцать, и это ему вконец охренело. Не знаю, что с ним стало, но как-нибудь я схожу его повидать. Впрочем, звонки никому у нас хорошего настроения не добавляли, мы все боялись облавы на предмет, чтобы нас запаковать в приют. У мадам Розы были фальшивые документы на любой случай, она ими запаслась при помощи одного своего еврейского друга, который, после того как вернулся живым, только ими и занимался для обеспечения спокойного будущего. Не помню, говорил ли я вам, что ей покровительствовал один комиссар полиции, которого она воспитывала, пока его мать изображала в провинции парикмахершу. Но всегда ведь полно завистников, и мадам Роза боялась, что ее выдадут. Когда-то ее вот так же разбудили на заре, в шесть утра, позвонив в дверь, и отвезли на велодром, а оттуда в еврейскую общагу в Германии. И тут как раз заявился мосье Н'Да Амеди, чтобы писать письмо, заявился вместе со своими двумя телохранителями, у одного из которых была такая фальшивая вывеска, что просто с души воротило. Не знаю, с чего я так невзлюбил его, но думаю, потому что мне уже было девять или десять с мелочью и у меня, как у всех, появилась потребность кого-нибудь ненавидеть.

Мосье Н'Да Амеди влез с ногами на кровать, а во рту у него была толстенная сигара, пепел с которой сыпался куда ни попадя, и он сразу стал докладывать своим родителям, что скоро вернется в Нигер и будет там жить в почете и богатстве. Сейчас-то я думаю, он сам в это верил. Я часто замечал, что люди начинают верить в то, что говорят, им это необходимо, чтобы жить. Но говорю я это не для того, чтобы показаться философом, а потому что вправду так думаю.

Да, еще я забыл отметить, что комиссар полиции, который был сыном шлюхи, все знал и все прощал. Он даже иногда приходил, чтобы обнять мадам Розу, при условии, что она будет держать клюв закрытым. Это то самое, что имеет в виду мосье Хамиль, когда говорит: все хорошо, что хорошо кончается. Я вам рассказываю про это, чтобы поднять немножко настроение.

Мосье Н'Да Амеди разливался соловьем, его телохранитель с покореженной мордой сидел в это время в кресле и полировал ногти, а второй ни на что не обращал внимания. А я как раз собрался пойти отлить, и тут второй, ну тот, о котором я вам говорил, схватил меня, когда я проходил мимо, и посадил к себе на колени. Он разглядывал меня, улыбался, даже сдвинул шляпу на затылок и при этом лепил мне:

– Ты так похож на моего сынка, малыш Момо. Сейчас он на море, в Ницце, вместе со своей мамочкой, они там отдыхают, а завтра уже возвращаются. Завтра у него праздник, день рождения, и он получит в подарок велосипед. Можешь, когда захочешь, приходить к нам домой, будешь с ним играть.

Не знаю, что со мной случилось, но я уже столько лет жил без отца и без матери, не говоря уж про велосипед, и вот этот гадский велосипед доконал меня. Короче, вы понимаете, что я хочу сказать. Ладно, инш'Аллах, но это неправда, и так я говорю только потому, что я правоверный мусульманин. В общем, меня это взволновало, ярость охватила, короче, было что-то жуткое. И пошло изнутри, а это хуже всего. Когда приходит извне, вроде пенделя ногой под зад, можно дать деру. Но когда изнутри, тут уж ничего не поделаешь. Когда на меня такое накатывает, хочется сдохнуть, чтобы уж с концами, и вообще. Чувство, будто в тебе поселился кто-то чужой. Я орал, упал на пол, бился головой, чтобы выгнать его, но это

невозможно, потому что у этого чужого нету ног, у того, что внутри, ног не бывает. Гляди-ка, рассказываю, и мне становится легче, как будто это понемножку выходит. Вы понимаете, что я хочу сказать?

А когда я перестал и они все отвалили, мадам Роза потащила меня к доктору Кацу. У нее прямо поджилки тряслись, она ему сказала, что у меня все признаки наследственности и я способен схватить нож и прирезать ее во сне. Не знаю, почему мадам Роза так боится, что ее убьют, когда она спит, хотя спать ей это совсем не мешает. Доктор Кац рассердился, накричал на нее, что я тихий, словно ягненок, и ей должно быть стыдно нести такие глупости. Он прописал ей транквилизаторы, которые у него были в ящике, и мы рука в руке вернулись домой, но я чувствовал, что ей немножко не по себе, оттого что она ни за что ни про что обвинила меня. Но нужно ее понять, ведь жизнь – единственное, что у нее осталось. Люди цепляются за жизнь больше, чем за что другое, и это даже смешно, если подумать, сколько замечательных вещей существует на свете.

Дома она наглоталась транквилизаторов и весь вечер провела, глядя с блаженной улыбкой перед собой, потому как ничего не чувствовала. Мне она никогда не давала колес. Эта женщина была в сто раз лучше других, и в доказательство я прямо сейчас могу привести пример. Если возьмете мадам Софи, которая тоже держит на улице Сюркуфа тайный пансион для детей шлюх, или еще одну с бульвара Барбеса по кличке Графиня, потому что она вдова, а покойного ее мужа звали Граф, так вот они брали в иной день по десять мальцов, и первое, что они делали, напичкивали их успокоительными колесами. Мадам Роза знала об этом из достоверного источника, от одной африканской португалки, которая работала в Трюандери и забрала своего сына от Графини в таком состоянии успокоения, что он на ногах не держался, все падал. Его ставишь, а он шмякается, ставишь, а он шмякается, и в эту игру с ним можно было играть несколько часов. А вот мадам Роза была полная противоположность. Когда мы начинали беситься или среди тех, кого приводили на день, оказывались совсем неумные, а таких сколько угодно, колесами нажиралась она. И тогда можно было орать или драться в свое удовольствие, ей все это было до фонаря. Держать порядок должен был я, и мне это здорово нравилось, потому что я чувствовал себя главным. Мадам Роза сидела в кресле посередине комнаты, положив на живот грелку, обвязанную шерстью, и, чуть наклонив голову, смотрела на нас с ласковой улыбкой, а иногда даже поднимала руку и приветственно нам махала, словно проезжающему поезду. Из этого состояния ее ничем было не вышибить, и тогда всем командовал я, главное, следил, чтобы не подожгли шторы, потому что для малышни первое удовольствие – это развести огонь.

Единственное, что могло хоть чуточку встревожить мадам Розу, когда она была под успокоительными, так это звонок в дверь. Она до посинения боялась немцев. Это старая история, про нее писали во всех газетах, и я не буду вам ее подробно рассказывать, но мадам Роза так от нее и не отошла. Иногда ей чудилось, будто все это еще продолжается, особенно по ночам, она вообще была человеком, жившим воспоминаниями. Вам небось кажется, что в наши дни, когда все кончено и трижды забыто, это дикая глупость, но евреи никак не могут опомниться, ведь их же уничтожали, и они всю дорогу мысленно к этому возвращаются. Мадам Роза часто рассказывала про нацистов и эсэсовцев, и мне страшно жаль, что я поздно родился и не видел нацистов и эсэсовцев с оружием и в форме, тогда я, может, хотя бы понял, что к чему. А теперь уж ни фи́га не понять.

Вообще, это было офигенно смешно, как мадам Роза боялась звонков. И самое лучшее время было рано утречком, когда день еще только потягивается. Немцы просыпаются с ранья и рассвет предпочитают любой другой поре дня. Среди нас всегда находился кто-нибудь, кто вставал, прокрадывался на площадку и нажимал на кнопку. Длинный-длинный звонок, чтобы не пришлось по новой перезванивать. Вот смеху-то! Это надо было видеть. В ту пору мадам Роза уже набрала свои девяносто пять кило с довеском, и вот она выскакивала как сумасшедшая из кровати и неслась по меньшей мере пол-этажа вниз, прежде чем остановиться. Ну а мы лежали и притворялись, будто спим. Когда же она понимала, что это вовсе не нацисты, то приходила в жуткую ярость и ругала нас выbledками; она нас так никогда не обзывала, если мы не давали повода. В бигудях, на которые она накручивала несколько еще оставшихся на голове волосков, она стояла с ошалелыми глазами и уже будто верила, что никакого звонка не было, он ей приснился, это у нее внутри зазвенело. Но почти всегда кто-нибудь из нас не выдерживал и начинал хихикать, тогда до нее доходило, что ее опять разыграли, и она приходила в ярость или принималась плакать.

Я-то считаю, что евреи такие же люди, как все, просто не надо на них зла держать.

А часто никому и не надо было вставать и нажимать на звонок: мадам Роза и без нас

обходилась. Внезапно она просыпалась, резко вскакивала, вслушивалась, слетала с кровати, и должен сказать, что задница у нее была невиданных размеров, накидывала свою любимую лиловую шаль и вылетала на площадку. Она даже не смотрела, есть там кто или нет, потому что звенело-то у нее внутри, а хуже этого ничего не бывает. Иногда она сбегала всего на несколько ступенек или на один марш, а бывало, что спускалась и в подвал, как в тот первый раз, о котором я уже имел честь. Сперва я думал, что в подвале она прячет клад и просыпается от страха перед ворами. Я всегда мечтал иметь хорошенько припрятанный клад, которым я мог бы пользоваться, когда наступает нужда. Мне кажется, клад, если он надежно припрятан и никто, кроме вас, о нем не знает, самое лучшее, что только может быть. Я подсмотрел, куда мадам Роза кладет ключ от подвала, и как-то отправился поглядеть, что там. Но ничего не нашел. Ну, мебель, ночной горшок, свечи, сардинки и разные другие шмотки, чтобы можно было человеку там жить. Я зажег свечку, все осмотрел, но там были только стены, которые скалили камни, точно зубы. Тут вдруг я услышал шум, подскочил от страха, но это была всего лишь мадам Роза. Она стояла в двери и глядела на меня. Нет, вид у нее был не сердитый, скорей виноватый, как будто ей было стыдно.

– Не надо никому про это рассказывать, Момо. Дай мне его.

Она протянула руку, и я положил в нее ключ.

– Мадам Роза, а что здесь? Почему вы приходите сюда по ночам? Что это такое?

Она поправила на носу очки и улыбнулась:

– Это мое запасное убежище, Момо. Пошли отсюда.

Она задула свечку, взяла меня за руку, и мы поднялись в квартиру. Потом она сидела в своем кресле, держась за сердце, потому что всякий раз, поднявшись на седьмой этаж, едва не отдавала концы.

– Момо, поклянись, что никому про это не расскажешь.

– Клянусь вам, мадам Роза.

– *Херем?*

У них, у евреев, этим словом клянутся.

– *Херем.*

И тогда она, глядя куда-то поверх меня такими глазами, словно видела что-то и впереди, и позади, прошептала:

– Это мое еврейское логово, Момо.

– А, ну понятно.

– Ты понимаешь?

– Не-е, но это ничего, я привык.

– Я там прячусь, когда мне становится страшно.

– Мадам Роза, а отчего вам становится страшно?

– А разве нужно иметь какую-то причину, чтобы стало страшно?

И я эти слова запомнил навсегда, потому что ничего верней их я в жизни не слышал.



**Я** часто ходил посидеть в приемную к доктору Кацу, потому что мадам Роза твердила: от этого человека исходит добро, но я ничего такого не чувствовал. Может, я недостаточно долго там сидел. Я знаю, что на свете много людей, которые делают добро, но они же не все время этим занимаются, и надо просто попасть в нужный момент. Чудес не бывает. Сперва доктор Кац выходил и спрашивал, не заболел ли я, но потом он привык и оставил меня в покое. Кстати, у дантистов тоже есть приемные, но они лечат только зубы. Мадам Роза говорила, что доктор Кац – специалист по всему, и это точно: кого у него только не было – само собой, евреи, североафриканцы, как везде, не говоря уже про арабов и негров, причем большие самыми разными болезнями. Особенно много у него было венерических болезней из-за рабочих-иммигрантов, которые подхватили их, перед тем как отправиться во Францию, чтобы воспользоваться здесь достижениями социальной защиты. В общественных местах венерические не заразные, и доктор Кац принимал их у себя, но с дифтеритом, скарлатиной, краснухой и другими такими пакостями к нему заявляться было нельзя, а надо было вызывать к себе. Только родители же никогда не знают, чем их дети больны, и я там раза два подхватил грипп и еще коклюш, которые вовсе мне и не предназначались. Но я все равно ходил туда. Мне нравилось сидеть в приемной и чего-то ждать, а когда доктор Кац весь в белом выходил и гладил меня по голове, мне сразу становилось легче, а медицина ведь для того и существует.

Мадам Роза очень беспокоилась из-за моего здоровья, твердила, что у меня трудности полового созревания, потому что у меня уже проснулся, как она называла, враг рода человеческого и вставал по нескольку раз в день. А самым большим несчастьем после полового созревания для нее были родственники, то есть дяди и тети, это когда чьи-нибудь родители погибали, скажем, в автомобильной катастрофе и они не хотели по-настоящему заниматься сиротой, но и в приют тоже отдавать не хотели, потому что в квартале их ославили бы людьми без сердца. Ну, и тогда они приходили к нам, особенно если ребенок был подавленным. Мадам Роза подавленным называла ребенка, который, как и указывает это слово, находился в подавленном состоянии. А означает это, что ему не хотелось жить и он становился как чокнутый. Хуже этого с мальцом ничего случиться не может, если не считать всего остального.

Когда к нам приводили новенького – всего на несколько дней или чтобы он приходил только по будням, мадам Роза всесторонне обследовала его, а главное, смотрела, не подавленный ли он. Она строила ему страшные рожи, чтобы напугать, или надевала перчатку, где каждый палец изображал паяца, и все малыши смеялись, если только не были в подавленном состоянии, но некоторые были словно не от мира сего, поэтому про них и говорят, что они как чокнутые. Мадам Роза не могла их принять, потому что за ними нужен глаз да глаз, а у нее не было дополнительной рабочей силы. Был случай, когда одна марокканка, которая работала в заведении на улице Золотой капли, привела к ней мальчонку в подавленном состоянии, а потом загнула, не оставив адреса. Мадам Розе пришлось пристраивать его в благотворительную организацию по фальшивым документам, подтверждающим, что он взаправду существует, и она от этого стала совсем больная, потому что нет ничего печальней, чем благотворительная организация.

Но и со здоровыми детьми риска тоже не оберешься. Вы не можете заставить неизвестных родителей забрать своего малявку, если против них нет доказательств по закону. А хуже всего – так это бессердечные матери. Мадам Роза говорила, что у зверей законы устроены лучше, чем у нас, и усыновлять ребенка просто-напросто опасно. Если настоящая мать, узнав, что теперь он счастлив, захочет отравить ему жизнь, все права на ее стороне. Потому-то лучше всего фальшивые бумаги, и если такая падла, узнав года через два, что ее ребенку хорошо у новых родителей, пожелает вернуть его обратно, чтобы продолжать мучить, то при сделанных

по всем правилам фальшивых документах ей это ни за что не удастся, ее бортанут, и он будет спасен.

Мадам Роза говорила, что у зверей в этом смысле в сто раз лучше, чем у нас, потому что они живут по законам природы, особенно львицы. Она всю восхищалась львицами. И, лежа в постели, я иногда воображал, будто в дверь позвонили, я иду открываю, а там стоит львица, которая хочет войти, чтобы защитить своих малышей. Мадам Роза рассказывала, что львицы этим славятся и скорей дадут себя убить, чем отступят. Таков закон джунглей, и, если львица не защищает своих детенышей, никто ей не будет доверять.

Я впускал свою львицу почти каждую ночь. Она входила, запрыгивала на кровать и лизала нам лица, потому что другим это тоже нужно, а я был старший и обязан был заботиться о них. Вот только у львиц плохая слава, потому что им, как и всем живым существам, нужно есть, и поэтому, когда я объявлял остальным, что придет моя львица, поднимался рев, и даже Бананчик начинал хныкать, хотя при его-то всегдешнем веселом настроении ему все было по кочану. Я очень любил Бананчика, его взяла семья французов, у которых было место, и как-нибудь я схожу его проведать.

В конце концов мадам Роза узнала, что, когда она спит, я привожу львицу. Она понимала, что не взаправду, что просто я смотрю сны о законах природы, но нервная система у нее становилась все впечатлительней, и даже мысль, будто по квартире гуляют дикие звери, вызывала у нее ночные страхи. Она с криком просыпалась, потому что мой сон для нее оказывался кошмаром, и она всегда говорила: кошмары – это то, во что в старости превращаются сны. Так что получались у нас две львицы, совершенно разные, но тут уж ничего не попишешь.

Не знаю даже, чего вообще могло сниться мадам Розе. Не понимаю, какой смысл видеть сны о прошлом, а о будущем в ее возрасте ей уже ничего не могло присниться. А может, ей снилась молодость, когда она была красивая и ничего не думала про здоровье. Не знаю, чем занимались ее родители, только она была из Польши. Работать она начинала там, а потом работала в Париже, на улице Фурси, на улице Блондель, на улице Лебедей, – короче, всюду понемножку, а потом занималась тем же в Марокко и Алжире. На арабском она говорила классно, можете мне поверить. Она даже обслуживала Иностраннный легион в Сиди-Бель-Аббесе, но когда возвратилась во Францию, все пошло наперекосяк: ей захотелось любви, а этот гад спер все ее сбережения и настучал французской полиции, что она еврейка. Но на этом она, когда рассказывала, обычно останавливалась, говорила: «Ну ладно, на сегодня хватит», – и улыбалась, переживала все хорошее, что у нее было в жизни.

Вернувшись из Германии, она еще несколько лет работала, но после пятидесяти начала толстеть и перестала быть такой аппетитной. Она знала, что у женщин, которые работают, большие трудности: по моральным соображениям закон запрещает им держать при себе детей, и ей пришлось в голову открыть бессемейный пансион для мелюзги, что родились вопреки закону. Короче говоря, подпольный, но в нашем языке он называется «левый». Ей повезло вырастить комиссара полиции, который был сыном шлюхи и покровительствовал ей, но сейчас ей было уже шестьдесят пять, и ждать можно было чего угодно. Особенно ее пугал рак, потому что это кранты. Я видел, что ей становится все хуже и хуже, и бывало, мы молча смотрели друг на друга, и нам обоим было страшно, потому что ни у нее, ни у меня никого больше на свете не было. Так что в ее состоянии ей не хватало только львицы, которая свободно разгуливает по квартире. Ну хорошо, я улегся, но глаза в темноте не закрыл, львица приходит, ложится рядом со мной и начинает лизать мне лицо, а остальные – сами по себе. Когда же мадам Роза от страха просыпалась, выходила к нам и зажигала свет, то видела, что все мирно спят. Но она заглядывала под кровати, и если подумать, так это просто смех: последнее, чего ей надо было бояться, так это львов, потому что в Париже они уж точно не водятся, ведь дикие звери живут только на природе.

Вот тогда я впервые смекнул, что у нее завелись тараканчики. Она перенесла много бед, и теперь надо было расплачиваться, потому что в жизни за все приходится платить. Она даже поволокла меня к доктору Кацу и объявила ему, что я пускаю бродить по квартире диких зверей и что это определенно признак. Я понимал, что у нее и доктора Каца есть какая-то тайна, о которой нельзя говорить при мне, но не имел ни малейшего представления, в чем дело и почему мадам Роза так перепугана.

– Доктор, уверяю вас, все это кончится насилием,

– Не говорите глупостей, мадам Роза. Вам нечего бояться. Наш малыш Момо ласковый ребенок. Это никакая не болезнь, и можете поверить старому врачу, труднее всего излечиваются вовсе не болезни.

– Но тогда почему у него все время в голове одни львы?

– Во-первых, не львы, а львица.

Доктор Кац улыбнулся и дал мне мятный леденец.

– Это львица. А что делают львицы? Защищают своих детенышей. . .

Мадам Роза вздохнула:

– Вы же знаете, доктор, почему я боюсь.

Доктор Кац от злости весь раскалился:

– Замолчите, мадам Роза! Вы совершенно необразованная. Ничего в этих вещах не понимаете и придумываете Бог знает что. Это возрастные фантазии. Я уже тысячу раз это вам

повторял и прошу вас замолчать.

Он хотел что-то добавить, но взглянул на меня, встал и велел мне выйти. Пришлось подслушивать под дверью.

– Доктор, я так боюсь наследственности!

– Все, мадам Роза, хватит. Во-первых, при той профессии, которой занималась его бедная мать, вы даже не можете знать, кто был его отцом. И в любом случае, я вам уже объяснял, что это ничего не значит. Тут воздействуют тысячи разных факторов. Ясно только одно: он очень впечатлительный ребенок и нуждается в любви.

– Но, доктор, не могу же я каждый вечер вылизывать ему лицо. И неизвестно, какие мысли ему могут когда-нибудь прийти в голову. А почему его отказались оставить в школе?

– Потому что вы сделали справку о рождении, которая никак не соответствует его реальному возрасту. Вы слишком любите этого мальчика.

– Я страшно боюсь, что у меня его заберут. Но имейте в виду, насчет него ничего доказать невозможно. Я обычно записываю такие сведения на бумажке или храню в голове, потому что девочки боятся, как бы кто чего не узнал. Проститутки по причине их безнравственного поведения не имеют права воспитывать своих детей и лишаются родительских прав. И этим их можно держать в руках и годы и годы подряд шантажировать, они готовы на все, лишь бы не потерять ребенка. И многие сотинеры теперь – настоящие вымогатели, потому что в наше время никто не желает честно заниматься своей профессией.

– Вы славная женщина, мадам Роза. Выпишу-ка я вам транквилизаторы.

Я так ничего и не узнал. Только убедился лишний раз, что еврейка темнит насчет меня, но не больно-то и хотел узнавать. Чем меньше знаешь, тем лучше. Мой дружок Дылда, а он тоже шлюхин сын, говорил, что в нашем положении тайна – дело совершенно нормальное по причине закона больших чисел. Он говорил, что женщине, у которой в день по многу клиентов, когда она случайно подзалетает и решает оставить ребенка, грозит административное преследование, а хуже этого не бывает ничего, потому что ей запрещено иметь детей. И в нашем случае можно быть уверенным только насчет матери, потому что отец находится под защитой закона больших чисел.

У мадам Розы на дне чемодана была бумажка, на которой я был записан Мохаммедом, а также там были записаны три килограмма картошки, фунт морковки, сто граммов сливочного масла, рыба и воспитать в мусульманской религии. Была там также дата, но она означала всего лишь день, когда мадам Роза получила меня, а вовсе не когда я родился.

Я занимался остальной мелюзгой, главным образом подтирал им зады, потому что мадам Розе было трудно нагибаться из-за веса. Талии у нее уже вообще не осталось, а задница чуть ли не подпирала плечи. Когда она шла, это надо было видеть.

Каждую субботу ближе к вечеру она надевала голубое платье с лисой, серьги, штукатурилась в два раза ярче, чем обычно, и отправлялась посидеть во французский бар Купель на Монпарнасе, где съедала пирожное.

Тем, кому больше четырех лет, я уже не подтирал, потому как у меня тоже есть чувство достоинства, но некоторые нарочно обгаживались. Но я хорошо знал эти фокусы и научил их вести себя как надо, то есть я хочу сказать, подтирать друг другу; я объяснил им, что так будет лучше, чем ходить с грязными задами. В общем, все шло нормально, и мадам Роза меня поздравляла, говорила, что у меня здорово получается. С остальными я не играл, они были совсем мелюзга, разве когда сравнивали пиписьки, но мадам Роза просто бесилась от этого, у нее дикий ужас перед пиписьками из-за того, что ей пришлось вынести в жизни. И по-прежнему она по ночам боялась львов; это же просто в голову не вмещается: бояться, что на тебя нападут львы, когда кругом столько других причин для страха, причем самых что ни

на есть подлинных.

У мадам Розы было плохо с сердцем, и потому из-за этого чертового седьмого этажа за покупками ходил я. Для нее не было ничего хуже лестницы. Она дышала с жутким хрипом и свистом, и из-за нее у меня тоже началась астма; доктор Кац сказал, что нет ничего заразней психологии. И насчет этого никто ничего толком не знает. Каждое утро, увидев, что мадам Роза проснулась, я был счастлив, потому что меня мучили ночные страхи, я до посинения боялся остаться один, без нее.

Самым большим моим другом в ту пору был зонтик по имени Артюр, и я одел его с ног до головы. Я сделал ему голову из зеленой тряпки, свернул ее в шар и нацепил на ручку, на нем я нарисовал губной помадой мадам Розы симпатичную улыбающуюся физию с круглыми глазами. Я завел его не только для того, чтобы было кого любить, но чтобы устраивать представления, потому что карманных денег у меня не было, и я иногда выходил во французские кварталы, где ими можно разжиться. Пальто я носил не по росту, оно доходило мне до пяток, а еще я надевал шляпу-котелок и раскрашивал лицо в разные цвета, так что мы оба с зонтиком Артюром выглядели здорово смешно. Я разыгрывал на улице разные смешные сценки, и иногда мне удавалось собирать за день до двадцати франков, но приходилось быть все время на стреме, потому как полиция вечно обращает внимание на несовершеннолетних, которые без присмотра. Артюр был одет как будто он одноногий, на нем была бело-синяя баскетбольная кеда, штаны, клетчатый клифт на плечиках, привязанный веревочками, а на голову я ему нахлобучил шляпу-канотье. Я попросил мосье Н'Да Амеде помочь мне одеть зонтик, и знаете, что он сделал? Взял меня с собой в «Золотой пуловер» на бульваре Бельвиль, где самый шикарный прикид, и позволил выбрать все, что я захочу. Не знаю, все ли у них в Африке такие, но если да, то им там клево живется, нехватки ни в чем не должно быть.

Исполняя свой номер на улице, я ходил вперевалочку, танцевал с Артюром и собирал бабки. Но находились люди, которые возмущались и заявляли, что нельзя так обращаться с ребенком. Не знаю, кто и как со мной обращался, но бывали и такие, которые расстраивались. Даже забавно, ведь я же это делал для смеха.

Время от времени Артюр ломался. Я прибил к нему вешалку, и у него появились плечи, но нога у него была одна, как и положено зонтику, а вторая штанина оставалась пустая. Мосье Хамиль был недоволен, он говорил, что Артюр смахивает на идола, а это запрещено нашей религией. Я-то не верил, но ведь и правда, когда вы сделаете какую-нибудь штуку, которая ни на что не похожа, вы надеетесь, что она что-то может. Я спал в обнимку с Артюром, а утром смотрел, дышит ли еще мадам Роза.

В церкви я ни разу не был, потому что истинная религия не велит ходить туда, и у меня нет никакого желания впутываться во все это. Но я знаю, что христиане все готовы отдать, чтобы видеть изображение своего Христа, а у нас запрещено изображать человеческую физиономию, чтобы не оскорблять Бога, и это понятно, потому что гордиться и впрямь нечем. Тогда я стер у Артюра лицо и оставил просто шар, зеленый, словно со страху, и уладил дела с нашей религией. Однажды, когда полиция гналась за мной по пятам, потому что своим представлением я вызвал скопление народа, я уронил Артюра, и он в полном смысле рассыпался – шляпа, вешалка, клифт, кеда и все прочее. Его-то я подобрал, но он остался голый, в чем мать родила. Однако самое забавное, что, когда Артюр был одетый и я спал вместе с ним, мадам Роза ни слова не говорила, но как только он остался голышом и я хотел положить его под одеяло, она раскричалась, дескать, что это за фантазия – спать с зонтиком. Вот и поймите ее.

У меня были припрятаны кое-какие денежки, и я опять обмундировал Артюра на блошином рынке, где продают совсем даже неплохие шмотки.

Но тут у нас пошла полная невезуха.

До сих пор переводы за меня приходили нерегулярно, случались перерывы на месяц-другой, но все-таки приходили. И вдруг как отрезало. Месяц, второй, третий – ничего. Четвертый. То же самое. И я сказал тогда мадам Розе, причем сказал как думал, и голос у меня дрожал:

– Не бойтесь, мадам Роза. Можете на меня рассчитывать. Я не брошу вас, оттого что вы

не получаете денег.

Потом я схватил Артюра, выбежал и уселся на тротуаре, чтобы не видели, как я реву.

А надо вам сказать, ситуация у нас была фиговая. Скоро мадам Роза совсем состарится, и она сама это знала не хуже меня. Эти семь этажей стали для нее врагом общества номер один. Она была уверена, что лестница ее когда-нибудь убьет. И это будет совсем нетрудно; чтобы убедиться, достаточно было взглянуть на мадам Розу. Буфера, живот, задница у нее были такие, что она стала круглая, как бочка. Детишек на пансионе становилось все меньше и меньше, потому что девушки уже не доверяли мадам Розе из-за ее состояния. Они видели, что она не способна ни о ком заботиться, предпочитали даже платить дороже и шли к мадам Софи или к матушке Айше с Алжирской улицы. И уж те-то зарабатывали будь здоров. Шлюхи, которых мадам Роза знала лично, исчезли по причине смены поколений. Раньше она жила с того, что шлюхи рассказывали о ней друг другу, а так как теперь никто ее никому не рекомендовал, то о ней на панели почти и не знали. Пока ноги у нее еще были в порядке, она ходила в кафе на площади Пигаль или у Центрального рынка, где работали девушки, и делала себе какую-никакую рекламу, расхваливая уход и кулинарную кормежку, ну и остальное. А теперь уже не могла. Подруги ее ушли, и связей больше не осталось. Ну а кроме того, появилась законная пилюля против ребенка, так что теперь, чтобы подзалететь, надо было хотеть этого. Сейчас, если у тебя завелся ребенок, уже не отговоришься случайностью, потому как всем все ясно.

Мне было уже десять или около того, и настал мой черед помогать мадам Розе. И нужно было также думать о собственном будущем, потому что если я останусь один, то без вариантов залетаю в приют. Я даже перестал спать по ночам, все следил, не умирает ли мадам Роза.

Пытался я и зарабатывать. Я причесывался, мазал, точь-в-точь как мадам Роза, за ушами духами и во второй половине дня отправлялся вместе с Артюром на улицу Пигаль или на улицу Бланш, где тоже неплохо. Женщины там работают круглый день, и всегда одна или две подходили посмотреть меня и говорили:

- Ой, какой симпатичный мальчоночка. Твоя мама работает здесь?
- Нет, у меня никого нету.

Они угощали меня мятной водой в кафе на улице Маса. Но мне приходилось быть начеку, потому что полиция устраивала облавы на сотинеров, да и женщины тоже должны были проявлять осторожность, потому что они не имеют права приставать. И вечно одни и те же вопросы.

- Сколько тебе лет, красавчик?
- Десять.
- А у тебя есть мама?

Я отвечал «нет», хотя мне было стыдно по причине мадам Розы, но чего вы хотите. Одна из них была очень ласкова со мной и иногда, проходя мимо, совала мне в карман купюрку. Она носила мини-юбку, длинные сапоги, чуть ли не до самого этого места, и была гораздо моложе мадам Розы. Глаза у нее были добрые, и однажды, оглянувшись вокруг, она взяла меня за руку и повела в кафе «Воронок», которого сейчас уже нет, потому что в него бросили бомбу.

- Не надо бы тебе шляться по панели, это не самое лучшее место для мальчишка.

Она погладила меня по голове, словно бы поправляя волосы. Но я-то знал, что ей хотелось меня приласкать.

- Как тебя звать?
- Момо.
- А где твои родители?
- Родителей у меня нету. Я свободен.

– Но есть же кто-то, кто заботится о тебе?

Я посасывал через соломинку оранжад и молчал.

– Я могла бы с ними поговорить и с удовольствием заботилась бы о тебе. Ты жил бы в хорошей квартире, как маленький принц, и ни в чем бы не нуждался.

– Надо подумать.

Я допил оранжад и встал из-за столика.

– Возьми, мой хороший, на конфеты.

И она сунула мне в карман купюрку. Сто франков. Вот имел честь.

Я приходил туда еще раза два-три, и она всегда мне широко улыбалась, но издали грустно, потому что я был все-таки не ее.

Как назло, кассирша в «Воронке» оказалась знакомой мадам Розы, когда-то они вместе работали. Она донесла старухе, и тут я поймел самую настоящую сцену ревности. Никогда еще я не видел еврейку в таком расстройстве, а уж плакала она. . . «Для этого я воспитывала тебя», – раз десять повторила она вперемешку с рыданиями. Пришлось мне поклясться, что больше я не пойду туда и никогда не стану сотинером. Она повторяла, что все сводники – бандиты и что лучше бы она умерла. Я, правда, не видел, что другого я мог бы делать в десять лет.

Но что мне всегда казалось чудно, так это то, что в программе обязательно были предусмотрены слезы. То есть заранее было известно, что будет сыро. И это надо было иметь в виду. Интересно бы знать, какой уважающий себя конструктор придумал все это.

Переводы все так же не приходили, и мадам Роза стала запускать руку в сберегательную кассу. У нее там были отложены какие-то гроши на старость, но она знала, что надолго их не хватит. Рак у нее так и не начинался, но все остальное выходило из строя со страшной скоростью. Она даже в первый раз завела со мной разговор о моих матери и отце, потому что, похоже, у меня они были оба. Они принесли меня вечером, мама принялась рыдать и тут же убежала. Получила меня мадам Роза как Мохаммеда и мусульманина и пообещала, что я буду как сыр в масле. Ну а потом, потом. . . Мадам Роза вздыхала и говорила, что это все, что она знает, вот только когда рассказывала, она не смотрела мне в глаза. Я не знал, что она от меня скрывает, но ночами мне становилось страшно. Мне так и не удалось больше ничего вытянуть из нее, даже когда переводы перестали приходить и у нее больше не было причин быть со мной ласковой. Я единственное знал, что у меня были мать и отец, потому что тут против природы не попрешь. Но они ни разу не появились, и мадам Роза с виноватым видом умолкала. Сразу вам скажу, чтобы избавить вас от лишних волнений: я так и не нашел маму. Однажды, когда я очень упорно настаивал, она придумала историю до того сопливую, что слушать ее было чистое удовольствие:

– Мне так кажется, у твоей матери были буржуазные предрассудки, потому что она происходила из приличной семьи. Она не хотела, чтобы ты узнал, чем она занимается. И вот она удалась с разбитым сердцем и со слезами на глазах, чтобы никогда не вернуться, потому что из-за предрассудков у тебя был бы травматический шок, как настаивает медицина.

И тут мадам Роза сама пустила слезу, я просто не знаю человека, который так, как она, любил бы жалостливые истории. Я рассказал об этом доктору Кацу, и думаю, он был прав. Он сказал, что шлюхи – это склад души. Мосье Хамиль, который читал Виктора Гюго и пережил в сто раз больше, чем любой другой человек в его возрасте, тоже был прав, когда с улыбкой объяснял мне, что нет ни белого, ни черного и что белое – это зачастую скрытое черное, а черное – это иногда одураченное белое. И. еще добавил, глядя на мосье Дриса, который принес ему мятный чай: «Уж поверьте моему давнему опыту». Мосье Хамиль – великий человек, но обстоятельства жизни не позволили ему стать великим.



За Бананчика переводы не приходили уже давным-давно, и вообще деньги за него мадам Роза держала в руках, только когда его привели, потому как потребовала плату за два месяца вперед. Так что теперь Бананчик жил за прекрасные глаза, но в свои четыре года ничуть этим не смущался, вел себя так, будто за него платили тик в тик. Но этот негритосик был везунчик, и мадам Розе удалось пристроить его в семью. Мойше все еще пребывал на испытании и кормежку получал в той еврейской семье, которая уже полгода изучала его, чтобы иметь уверенность, что у него все в норме и нету эпилепсии или приступов насилия. Семьи, которые хотят ребенка, пуще всего боятся приступов насилия и желают, прежде чем усыновить, увериться, что у него их не бывает. Чтобы прокормиться вместе с мальцами, которых приводили на день, мадам Розе нужно было тысячу двести франков в месяц, прибавьте к этому еще лекарства и то, что ей отказали в кредите. Одной мадам Розе, если не отказывать себе во всем, на еду нужно было не меньше пятнадцати франков в день, но при том, что она начала бы худеть. Помню, я в открытую говорил, что ей нужно худеть, а для этого поменьше есть, но для старой женщины, которая одна на целом свете, это очень тяжело. Ей, наоборот, нужно было больше, чем другим женщинам. Жир, он с того и начинается, что рядом нет никого, кто любил бы вас. Я опять стал похаживать на Пигаль, где была та дама Марыся, что влюбилась в меня, потому что я был еще ребенок. Но я жутко бздел, потому что соти-нерство карается тюремным заключением, и потому нам приходилось встречаться тайком. Я ожидал у задней двери, она выходила, обнимала меня, целовала, говорила: «Сердечко мое, как бы я хотела такого сыночка, как ты», – и совала мне плату за визит. А еще я использовал Бананчика, чтобы воровать в магазинах. Я оставлял его одного, чтобы он улыбался и всех обезоруживал, и вокруг него сразу собирались люди, потому как он возбуждал всякие там нежные и трогательные чувства. К негритятам, когда им года четыре-пять, относятся очень хорошо. Иногда я щипал его, чтобы он разревелся, люди вокруг него волновались, а я в это время тырил все, что годится в жратву. На мне было пальто до пят с глубокими карманами, которые мне пришила мадам Роза, и, сколько бы я туда ни набивал, видно ничего не было. Голод не тетка. А чтобы выйти, я брал Бананчика на руки, пристраивался за какой-нибудь теткой, которая расплачивалась, и все думали, что я с ней, а Бананчик всюду лыбился. Вообще к детям относятся хорошо, пока они еще не стали опасными. Мне тоже и ласковые слова говорили, и улыбались, люди чувствуют себя уверенней, видя перед собой мальчика в возрасте, когда еще рано становиться шпаной. У меня каштановые волосы, синие глаза и нос вовсе не еврейский, как у арабов, так что я мог сойти за кого угодно, и мне вовсе не надо было менять обличье.

Мадам Роза стала есть меньше, это шло ей на пользу, да и нам тоже. А потом мальцов стало больше, лето стояло хорошее, и люди уезжали отдыхать все дальше и дальше. Никогда еще я так не радовался, подтирая зады, потому что у нас было что пожрать, и, когда пальцы у меня были все в дерьме, мне даже в голову не приходило злиться.

К несчастью, мадам Роза по причине законов природы страдала изменениями в организме, которые досаждали ей со всех сторон – ноги, глаза, а также такие важные органы, как сердце, печенка, сосуды и все прочее, что только есть у старых людей. А поскольку жили мы без лифта, с нею случались аварии между этажами, и тогда всем нам приходилось спускаться и подталкивать ее, даже Бананчику, который начал уже кое-что смекать в жизни и понимал, что свой бифштекс надо заработать.

У людей самые главные части – это сердце и голова, и потому за них приходится расплачиваться дороже всего. Если сердце останавливается, то все, продолжать, как раньше, жизнь уже нельзя, а если отключается голова и перестает работать, у человека прекращаются все

функции и жизнь для него кончена. Я-то лично считаю, чтобы жить, начинать надо совсем молодым, потому что потом человек не представляет никакой ценности, а подарков никто вам делать не будет.

Иногда я приносил мадам Розе всякие бесполезные вещи, от которых уже никакого прока и люди выбрасывают их, но которые могут еще доставить удовольствие. Например, у людей стоят дома цветы по случаю дня рождения или вообще без причины, чтобы в квартире было покрасивей, а когда они засыхают и теряют свежесть, их выбрасывают в мусорный бак, так вот, если вы встанете с утра пораньше, вы можете их подобрать; это называется отбросы, и они моя специальность. Иногда цветы сохраняют краски и еще немножко живые, и я собирал их в букеты, – Бог с ним, что они не только что срезаны, – приносил мадам Розе, а она ставила их в вазы без воды, потому что для них это уже без разницы. А иногда весной я воровал целыми охапками мимозу с тележек на Центральном рынке и приносил ее домой, чтобы там запахло счастьем. И когда возвращался, мечтал о сражениях цветов в Ницце и мимозовых рощах, которые в огромном количестве растут вокруг этого белого-белого города, где побывал в молодости мосье Хамиль; он продолжал мне рассказывать про него, но не часто, потому что мосье Хамиль тогда уже здорово сдал.

Обычно дома мы с мадам Розой говорили на еврейском или арабском, а на французском, когда были чужие или мы не хотели, чтобы нас поняла мелкота, но теперь мадам Роза путала все языки и обращалась ко мне по-польски; это ее самый первый язык, и он вернулся к ней, потому что старики лучше всего помнят то, что у них было в молодости. В общем-то, если не считать лестницы, она еще держалась. Но все равно это уже не была нормальная жизнь, да к тому же ей нужно было делать уколы в зад. Медицинскую сестру, достаточно молодую, чтобы забираться на седьмой этаж и при этом не драть три шкуры, найти было трудно. И тогда я договорился с Дылдой, который кололся вполне легально, потому что у него был диабет и этого требовало его состояние здоровья. Парень он был хороший и тоже сам себя сделал, но только принципиально стоял за черных и алжирцев. Он продавал транзисторы и другую аппаратуру, которую крал, а все остальное время пытался лечиться от наркомании в Мармоттане; у него туда были свои ходы. Пришел он, значит, сделать укол мадам Розе, но это едва не кончилось плохо, потому что он перепутал ампулы и ширанул ей дозу героина, которую хранил на тот день, когда закончит курс дезинтоксикации.

Я сразу смекнул, что происходит что-то не то: никогда я не видел еврейку такой счастливой. Сперва она была дико удивлена, а потом пошел кайф. Я даже перепугался, думал, она уже и не вернется, такое она испытывала блаженство. Сам я на героин кладу с прибором. Ребята, которые ширяются, быстро привыкают к кайфу, а от этого уже нет спасения, к тому же всем известно, что после кайфа всегда идет ломка. Чтобы ширяться, надо совсем уж дико хотеть быть счастливым, а такие мысли могут возникать только у полных мудаков. Сам я никогда наркотой не баловался, разве что иногда курил с ребятами «мариху», чтобы не портить компанию, хотя десять лет – такой возраст, когда взрослые много чему вас научат. Только мне не надо кайфа, я пока предпочитаю жизнь. Кайф – это сладкое дерьмо и жутко опасная штука. Мы с ним по разные стороны, и мне на него накласть. А еще я никогда не занимался политикой, потому как она всегда на пользу чужому дяде, а что до кайфа, то должны быть законы, запрещающие это паскудство. Я говорю только то, что думаю, и, может, я и не прав, но только колоться, чтобы словить кайф, я не стану. И не ждите. Не буду вам больше говорить про кайф, потому что не хочу, чтобы начался приступ ярости, но мосье Хамиль говорил, что у меня предрасположенность к невыразимому. И еще он говорил, невыразимое – это то, что нужно искать, и в нем-то все и находится.

Лучший способ добыть этого дерьма – и Дылда так и делает, – сказать, будто ты ни

разу не ширялся, и тогда нужные парни сразу отвалят тебе бесплатную дозу, потому что никому неохота чувствовать себя одиноким в своем несчастье. А уж сколько парней хотели мне ширануть бесплатный укол, так это уму непостижимо, да только я не собираюсь помогать жить другим, с меня хватает и мадам Розы. Нет, на кайф я не подловлюсь, по крайней мере до тех пор, пока не испробую все способы выкарабкаться.

И вот Дылда – это у него такая кличка – закатил мадам Розе НЛМ, как у нас называют героин по имени того региона Франции, где его разводят. Мадам Роза была офигенно удивлена, а потом поплыла, и это было видно с первого взгляда. Сами представьте, шестидесятипятилетняя еврейка, много ли ей надо. Я тут же помчался к доктору Кацу, потому как есть такая штука, которая называется передозировка, и после нее прямиком отправляются в искусственный рай. Но доктор Кац не пошел, теперь ему запретили подниматься на седьмой этаж, за исключением тех случаев, когда кто-то умер. Но он позвонил одному знакомому молодому врачу, и тот через час приперся. Мадам Роза пускала слюни в своем кресле. Доктор посмотрел на меня так, словно никогда не видел десятилетнего пацана.

– Что тут такое? Детский сад, что ли?

Мне было жаль его, он стоял такой раздраженный, будто тут было невесть что. Дылда сидел на полу и плакал, потому что загубил свой кайф, вкатив его в задницу мадам Розе.

– Как это, в конце концов, произошло? Кто вколол героин этой пожилой даме?

Я стоял сунув руки в карманы, смотрел на него, улыбался и молчал, потому как о чем тут звонить; этому тридцатилетнему парню предстояло еще много чего узнать.

А еще через несколько дней мне крупно свезло. Я собрался в большой магазин на площади Опера, в витрине которого устроили цирк, чтобы родители со своей малышкой приходили сюда без всякой даже надобности чего-нибудь купить. Я бывал там уже раз десять, но в тот раз пришел слишком рано, витрина была еще закрыта шторой, и немножко потрепался с африканским подметалой; мы не были с ним знакомы, но он был черный. Приехал он из Обервилье, их там тоже полно. Мы выкурили сигарету, а потом я смотрел, как он подметает тротуар, потому как делать все равно было нечего. А после зашел в магазин и оттянулся в свое удовольствие. Витрина вся была окружена звездами, куда больше, чем на небе, и они зажигались и гасли, словно подмигивали. А в середине был цирк – клоуны, и космонавты, которые улетали на луну и возвращались и при этом махали рукой проходящим людям, и акробаты, с легкостью, как и положено им, перелетающие с трапеции на трапецию, и белые танцовщицы в пышных юбочках, плясавшие на спинах лошадей, и ярмарочные силачи с огромными мускулами, которые поднимали гири невероятной тяжести без всяких усилий, потому что они были не люди и внутри у них разная механика. Был там еще верблюд, он танцевал, и фокусник, который выпускал из своего цилиндра целую вереницу кроликов, и они делали круг по арене, а потом возвращались к нему в цилиндр, чтобы повторять все это снова и снова; это было бесконечное представление, оно не могло остановиться, так было задумано. А клоуны там были всех цветов и одетые в свои клоунские наряды – синие, белые, разноцветные, у некоторых в носках красные лампочки, и они загорались. А позади куча зрителей, во не настоящих, а понарошку, и они без остановки аплодировали, так они были сделаны. Космонавт взлетал и, когда садился на луну, приветствовал всех, а ракета ждала, пока он кончит приветствовать. Вы уже думали, что все посмотрели, но тут появлялись жутко уморительные слоны, они держали друг друга за хвосты, и последним шел совсем еще маленький слоник, весь розовый, как будто он только родился. Но для меня главное были клоуны. Они были такие, короче, ни на кого и ни на что не похожие. Невозможно уморительные рожи, глаза как вопросительные знаки, а глупые они были до того, что все время находились в хорошем настроении. Я смотрел на них и думал, что мадам Роза была бы очень смешной, если бы она была клоуном, но она не была клоуном, и вот это самое противное. Штаны у них все время спадали и тут же сами надевались, это для смеха, а в руках они держали разные музыкальные инструменты, но как только начинали играть, оттуда вместо музыки, как должно быть в нормальной жизни, вылетали искры или струйки воды. Клоунов было четверо, но самым главным был Белый в колпаке, штанах пузырем и с лицом еще белее, чем все остальное. Другие низко ему кланялись, отдавали честь, а он им всем отвечал пинками в зад, только это он и делал и не мог остановиться, даже если бы и захотел, потому что он был так устроен. Но это вовсе не со зла, просто такая в нем была механика. А еще был Желтый клоун с зелеными пятнами и всегда радостной физиономией, даже когда ляпался на арену; он исполнял номер на проволоке, который у него никогда не получался, однако он ничуть не огорчался от этого, потому что был философом. Он был в рыжем парике, который вставал дыбом от страха, как только он водружал одну ногу на проволоку, и то же самое, когда ставил вторую, а потом, стоя обеими ногами на проволоке, он не мог ни двинуться вперед, ни попятиться назад и весь дрожал, чтобы насмешить всех своим страхом, потому что нет ничего на свете смешней, чем клоун, который боится. Дружок его был весь в синем и очень симпатичный, в руках у него была маленькая гитарка, он играл на ней и пел дурным голосом; было видно, что у него очень доброе сердце, но проку ему от этого никакого. А последний клоун был на самом деле не один, их было два, потому что у него был двойник и то, что делал один, обязательно повторял второй; они пытались разделиться, но у них ничего не получалось: они были связаны

друг с другом. И здорово было, что это чистая механика, все понарошку, и ты заранее знал, что они не страдают, не стареют и что с ними уж точно никакой беды не может случиться. Это ничуть не было похоже на жизнь ни в каком отношении. Даже верблюд там желал вам добра, хотя про них рассказывают, будто они чуть что сразу плюются. У него была улыбка во всю морду, и он приплясывал) как подпившая тетка. Все в этом цирке были счастливы, а в жизни так никогда не бывает. Клоун на проволоке был в полной безопасности, за десять дней я ни разу не видел, чтобы он сверзился, но даже если бы он и сверзился, я знал, что никакой беды с ним не приключилось бы. Да, это совсем другое дело. Я был до того счастлив, что мне даже хотелось умереть, потому что счастье надо ловить, когда оно тут, рядом.

Я глазел на цирк, и мне было хорошо, но вдруг я почувствовал на своем плече чью-то руку. Я мигом обернулся, потому как сразу решил – легавый, но оказалось, нет. Девушка, скорей молодая, самое большее двадцать пять. Очень даже ничего, блондинка, пышные волосы, и пахло от нее приятно и свежо.

– Почему ты плачешь?

– Ничего я не плачу.

Она провела рукой мне по щеке.

– А это что? Разве не слезы?

– Нет. Я даже не знаю, откуда они взялись.

– Ладно, значит, я ошиблась. Красивый цирк, верно?

– Это самое лучшее, что я видел.

– Ты здесь живешь?

– Нет. Я не француз. Я, наверно, алжирец, из Бельвиля.

– Как тебя зовут?

– Момо.

Я не понимал, чего она ко мне прицепилась. Хоть я и араб, но в десять лет ни на что такое я еще не был годен. Она не убрала руку с моей щеки, и я чуть отодвинулся. Всегда надо быть настороже. Вы, может, и не знаете этого, но есть такая социальная помощь, которая притворяется, будто она ничего к вам не имеет, а потом – хоп! – составляет протокол о нарушении и начинает административное расследование. А хуже административного расследования нет ничего. Стоит мадам Розе о нем подумать, и она тут же обмирает. Я еще на чуток попятился, но не слишком – ровно настолько, чтобы иметь возможность смыться, если она вздумает схватить меня. Все-таки она была здорово красива и могла бы, если бы захотела, иметь хорошие бабки от серьезного парня, который опекал бы ее. Она рассмеялась:

– Не бойся.

Подумать только, не бойся! Старый и дурацкий фокус, и меня на нем не подловишь. Мосье Хамиль всегда говорит, что страх – наш самый надежный союзник, и без него одному Богу известно, что с нами случилось бы, уж поверьте моему большому опыту. Мосье Хамиль даже отправился в Мекку, до того он боялся.

– В твоем возрасте тебе не следовало бы болтаться одному по улицам.

Тут я здорово развеселился. От всей души. Но ничего ей не сказал, потому что не мое это дело объяснять ей, что к чему.

– Ты самый красивый мальчик, какого я когда-либо видела.

– Да и вы тоже ничего.

Она рассмеялась:

– Спасибо.

Не знаю, что на меня нашло, но у меня вдруг появилась надежда. Это вовсе не означало, что я искал, где бы пристроиться, я не собирался бросать мадам Розу, пока она на этом свете.

Но все равно ведь надо думать о будущем, которое рано или поздно свалится тебе на голову, и об этом я иногда мечтал по ночам. Будто нашел кого-то, кто ездит отдыхать на море, и мне этот кто-то нравится. Да, согласен, я предавал мадам Розу, но ведь только в мыслях, когда становилось так худо, что впору сдохнуть. И я с надеждой смотрел на эту девицу, и сердце у меня так и колотилось. Надежда – это такая штука, что она не оставляет даже стариков вроде мадам Розы или мосье Хамиля. Уписаться можно.

Но она мне ничего больше не сказала. Все на этом остановилось. Людей не поймешь. Она заговорила со мной, дотронулась до щеки, ласково улыбнулась, а потом вздохнула и пошла себе. Сучка.

На ней были плащ и брюки. Даже сзади было видно, какие у нее светлые волосы. Она была тоненькая, но по походке было ясно, что несколько раз подняться бегом на седьмой этаж, да еще с сумками, для нее плевое дело.

Я поплелся за ней, потому что делать мне все равно было не фиг. Один раз она остановилась, увидела меня, и мы друг другу улыбнулись. А еще один раз я спрятался в подъезде дома, но она не обернулась и не пошла меня искать. И я чуть было не потерял ее. Шла она быстро, и я даже думаю, она начисто забыла про меня, потому что у нее других забот было выше головы. Потом она вошла в ворота, и я увидел, как она звонит в дверь первого этажа. Долго ждать ей не пришлось. Дверь отворилась, и я увидел двух девчонок, которые кинулись ей на шею. Лет по семь-восемь. Вот такие дела.

Я сел под аркой ворот, и какое-то время мне ничего не хотелось, не хотелось никуда идти. Нет, варианты были; я мог бы пойти в магазин на площади Звезды, где продают комиксы, и там посмотреть их сколько влезет. А мог бы отправиться на площадь Пигаль к девицам, которые любят меня и суют деньги. Но я вдруг почувствовал себя таким измочаленным, что мне было на все насрать. Мне вообще захотелось исчезнуть, навсегда. Я закрыл глаза, но этого мало для того, чтобы исчезнуть, я продолжал быть, – уж коль ты живешь, это происходит автоматически. Никак я не мог понять, чего ради эта сучка заигрывала со мной. Но надо сказать, что я все-таки немножко мудака и, когда хочу что-то понять, все время ворочаю в голове, а на самом-то деле прав мосье Хамиль, утверждающий, что уже давно никто ничего тут не понимает и не стоит этому удивляться. Я пошел опять посмотреть цирк и провел там час или два, но до конца дня времени еще было немерено. В чайном салоне для дам я сожрал два пирожных, шоколадных эклера, я их больше всего люблю, затем спросил, где тут можно отлить, а возвращаясь из клозета, втихаря нырнул в дверь, и привет. А потом спер с прилавка в универмаге «Прентан» перчатки, но, когда вышел на улицу, бросил их в мусорный бак. От этого мне стало немножко легче.

**А** когда я проходил по улице Понтье, произошла какая-то странная штука. Вообще-то я не больно верю в странные штуки, не вижу в них ничего особенного, чем бы они отличались от всего остального.

Мне было страшно возвращаться. На мадам Розу было жутко смотреть, и я знал, что вот-вот останусь без нее. Я все время об этом думал и иногда просто не решался идти домой. И тогда мне хотелось спереть в магазине что-нибудь жутко дорогое и дать себя поймать, чтобы все обо мне узнали. Или вот, меня заловили в банке, и я отстреливаюсь из автомата до последнего патрона. Да только я знал, что никто ни за что не обратит на меня внимания. Короче, на улице Понтье я убил часа два в бистро, смотрел, как играют в настольный футбол. Потом решил отправиться куда-нибудь еще, но не знал куда и потому остался там и болтался без дела. Я знал, что мадам Роза места не находит, она всегда боялась, что со мной что-нибудь случится. Она уже почти не выходила, потому что не могла подняться по лестнице. Вначале мы дожидались ее на пятом или шестом этаже, и, когда она добиралась до нас, собиралась вся малышня и подталкивала ее наверх. Но теперь это бывало все реже и реже, потому что ноги и сердце стали у нее совсем никуда, да и дыхание тоже – с таким дыханием ей надо было бы весить раза в четыре меньше. Она и слышать не хотела о больнице, где человеку, вместо того чтобы сделать укол, не дают умереть до самого конца. Говорила, что во Франции – против смерти по желанию и они будут заставлять человека жить до тех пор, пока он способен страдать. Мадам Роза до посинения боялась всяких мучений и вечно твердила, что, когда поймет, что хватит, абортирует себя из жизни. А нас предупреждала, что, если ее упекут в больницу, все мы загремим в приют, потому что так положено, и начинала плакать, стоило ей подумать, что она может умереть в соответствии с законом. Закон ведь существует, чтобы защищать одних людей, у которых есть что защищать, от других. Мосье Хамиль говорил, что человечество всего лишь запятая в великой Книге жизни, а когда старый человек говорит такие глупости, я даже не знаю, что тут можно сказать. Нет, человечество вовсе не запятая, потому что когда мадам Роза смотрит на меня своими еврейскими глазами, то никакая она не запятая, а скорей уж вся целиком великая Книга жизни, и я не хочу этого видеть. Два раза я ходил в мечеть помолиться за мадам Розу, да только ничего не изменилось, потому что молитвы за евреев в мечети не действуют. Вот почему мне не хотелось возвращаться в Бельвиль и слушать ойканья мадам Розы. Она все время говорит: «Ой! Ой!» – это евреи так стонут, когда у них что-нибудь болит; у нас, у арабов, все совсем по-другому, мы стонем: «Хай! Хай!», а вот французы – «О! О!»; не надо думать, будто у них всегда все хорошо, им тоже бывает плохо. Мне как раз исполнилось десять лет, потому что мадам Роза решила, что я должен привыкать к дате своего рождения, и вот она случилась сегодня. Мадам Роза говорила, что это важно, чтобы я нормально развивался, ну а насчет всего остального – имени отца, матери, то это уже снобизм.

Я пристроился под аркой ворот, чтобы дождаться вечера, но время, оно еще старее, чем все остальное, и еле-еле плетется. Когда люди болеют, глаза у них становятся большими и куда выразительнее, чем когда они были здоровые. Глаза у мадам Розы тоже стали больше и все больше и больше походили на собачьи – такими глазами глядит собака, когда ее ни за что ни про что побили. Они просто стояли передо мной, но я все равно оставался на улице Понтье, недалеко от Елисейских полей, где полно шикарных магазинов. Довоенные волосы выпадали у мадам Розы со страшной силой, и, когда у нее просыпалась решимость держаться, она просила меня найти ей парик из настоящих волос, чтобы быть похожей на женщину. Старый ее парик стал совсем страшный, да и она сама тоже. Надо сказать, что она лысела прямо как мужчина, и выглядело это хреново, потому что женщинам лысыми быть не полагается. Да, а парик

она хотела рыжий, потому что этот цвет лучше всего подходил к типу ее внешности. Только я не представлял, где мне его украсть. В Бельвиле заведений для страхолюдных женщин, которые называются институтами красоты, нету. Л на Елисейских полях я не осмеливался в них заходить. Надо спрашивать, примерять, нет уж, на фиг.

Чувствовал я себя хуже некуда. Даже кока-колы не хотелось. Я попытался внушить себе, что я вовсе не родился в этот день, да и ни в какой другой, и что в любом случае все эти истории с днями рождения всего-навсего общественная условность. Вспомнил про своих дружков, про Дылду и еще про Шаха, который вкалывал на бензоколонке. Если ты парень и хочешь кем-то быть, надо, чтобы у тебя было много друзей.

Я улегся на землю, закрыл глаза и попытался умереть, но бетон был холодный, и я побоялся подцепить простуду. Если говорить обо мне, я знал парней, которыекупаются на любое дерьмо, но я не собираюсь лизать жизни зад, чтобы быть счастливым. И не собираюсь к ней подлаживаться, я чихал на нее. Мы друг другу ничего не должны. А когда стану совершеннолетним, может, сделаюсь террористом, буду угонять самолеты и брать заложников, как показывают по телеку, чтобы потом чего-нибудь потребовать, не знаю еще чего, но уж точно не какую-нибудь там фигню. Что-нибудь стоящее. Сейчас я пока не могу вам сказать, что нужно требовать, потому что я не получил профессиональной подготовки.

Я сидел на холодном бетоне, захватывал самолеты, брал заложников, которые шли, подняв руки, и думал, а что я буду делать с деньгами, ведь не все же можно купить. Ну, куплю дом для мадам Розы, чтобы она спокойно умерла в новом парике, держа ноги в теплой воде. Отправлю детей шлюх вместе с их матерями в самые шикарные дворцы в Ницце, где они горя не будут знать, а потом смогут стать главами государств и наезжать в Париж или депутатами большинства, которое оказывает им поддержку, а то и важными факторами экономического успеха. И еще смогу купить себе новый телек, такой, как я присмотрел на витрине.

Я думал обо всем этом, но большого желания заниматься подобными делами у меня не было. И я сделал так, чтобы ко мне пришел Синий клоун, и мы с ним вместе немножко повеселились. А потом я позвал Белого, он сел рядышком со мной и тихонько сыграл мне на своей малюсенькой скрипочке. Мне страшно хотелось стать таким, как они, и остаться с ними навсегда, но я не мог бросить мадам Розу одну в этом дерьме. На место того вьетнамца, что был у нас, мы получили нового, цвета кофе с молоком; его мать, негритянка с Антильских островов, но вообще-то она француженка, специально родила от одного кота, чья мать была еврейка, и собиралась сама воспитывать, потому что у нее с этим котом была любовная история и всякие там личные отношения. Платила она без задержек, потому как мосье Н'Да Амеде оставлял ей достаточно денег для приличной жизни. Брал он у них сорок процентов: место там было бойкое, и отдыха девушкам не было, и потом еще нужно было платить югославам; вот уж сущее несчастье по причине рэкета. А кроме того, начали возникать корсиканцы, потому что у них появилось новое поколение.

Рядом со мной стоял ящик с разными выброшенными вещами; я мог бы поджечь его, и тогда бы весь дом сгорел, но все равно никто бы не узнал, что это я, и вообще это было глупо. Я хорошо помню тот момент моей жизни, потому что он был в точности как другие такие же. Жизнь вроде как всегда, но в некоторые моменты я чувствую себя хуже, чем обычно. Ничего у меня не болело, да и с чего бы болеть, но ощущение было такое, будто у меня нет ни рук ни ног, хотя на самом деле все было на месте. Даже мосье Хамиль не смог бы объяснить, в чем тут дело.

Я никого не хочу обидеть, но должен сказать, что мосье Хамиль соображал все хуже и хуже; такое часто случается со стариками, которые уже близки к концу, и им уже ничего не остается. Они знают, что их ожидает, и по их глазам видно, что они глядят назад, чтобы



спрятаться в прошлом, как страусы, которым свойственна такая политика. Мосье Хамиль не расставался с книгой Виктора Гюго, всю дорогу держал на ней руку, но он все перепутал и думал, что это Коран, потому что Коран у него тоже был. Он их обе знал наизусть в отрывках и запросто повторял по памяти, но все время путал. Когда я был с ним в мечети, где мы произвели хорошее впечатление, потому что я его вел, как слепого, а у нас к слепым относятся очень хорошо, он все время ошибался и, вместо того чтобы молиться, декламировал: «О Ватерлоо, мрачная равнина» – и ужасно удивлял находившихся там арабов, потому как это не совсем то. А у него даже слезы стояли в глазах по причине религиозного пыла. Вообще он очень здорово выглядел в серой джеллабе и белой галмоне на голове и молился, чтобы его приняли на небеса. Но тем не менее он все еще не умер и, возможно, станет чемпионом мира во всех категориях, потому что вряд ли кто в его возрасте способен так же красиво говорить. Вот собаки умирают очень молодыми, если сравнивать с людьми. Двенадцать лет – и конец, надо заводить новую. В следующий раз, когда я заведу собаку, я возьму ее совсем маленьким щеночком, и пройдет дольше времени, прежде чем я ее потеряю. Только у клоунов не бывает никаких проблем насчет жизни и смерти, потому что на свет они явились совсем не так, как появляются люди. Их придумали в обход законов природы, и они не умирают, потому что в смерти нет ничего смешного. Я могу их вызвать и увидеть когда хочу. И вообще я могу увидеть, если захочу, кого угодно – Кинг Конга, Франкенштейна, стаи раненых розовых птиц; всех, кроме мамы, тут мне не хватает воображения.

Мне надоело торчать под аркой, я встал и выглянул на улицу – посмотреть, что там творится. Направо стоял полицейский фургон с легавыми при исполнении. Я бы тоже хотел стать легавым, когда буду совершеннолетним, чтобы никого и ничего не бояться и всегда знать, что надо делать. Если ты легавый, распоряжаются тобой власти. Мадам Роза рассказывала, что много детей шлюх из приюта становятся легавыми или служат в отрядах республиканской безопасности, и теперь никто их не смеет тронуть.

Сунув руки в карманы, я вышел посмотреть и подошел поближе к полицейскому фургону; по-настоящему легавые называются полицией. Немножко, конечно, бздел. Не все они сидели в машине, кое-кто стоял на тротуаре. Я принялся насвистывать «Мы по Лотарингии идем»; я ведь лицом не похож на араба, и один мусор мне даже улыбнулся.

Главней легавых никого на свете нет. Если у пацана отец легавый, то это все равно как будто его отец раза в два главнее, чем у остальных ребят. Они принимают арабов и даже негров, если у них все в порядке с французскими документами. И они все сыновья шлюх, прошли через приют, и теперь к ним никто не может придрататься. Нет ничего лучше, чем служить в силах безопасности, я так считаю. Даже военные им в подметки не годятся, ну разве что, может, генерал. Мадам Роза мусоров боится до посинения, но это из-за той общаги, где ее должны были истребить, только это не аргумент, потому как она оказалась не на той стороне. Или же поеду в Алжир и там поступлю в полицию, им там нужны легавые. Во Франции алжирцев куда меньше, чем в Алжире, так что тут им дают меньше работы. Я прошел еще несколько шагов в сторону фургона, где мусора сидели и ждали беспорядков и вооруженных нападений, и сердце в груди у меня здорово прыгало. Я всегда настроен против закона и чувствовал, что не надо мне туда идти. Но мусора ничего такого не делали, может, устали. Один из них даже спал, привалясь головой к стеклу, а второй ел банан и слушал транзистор, и это как-то успокаивало. А один блондинистый легавый стоял у машины и держал в руке приемник с антенной, но вовсе не выглядел обеспокоенным тем, что происходит. Да, я боялся, но лучше уж бояться, когда знаешь чего, потому что обычно я испытываю страх без всякой причины; это все равно как будто дышишь. Легавый с приемником глянул на меня, но никаких мер не предпринял, и я, насвистывая, прошел мимо него как ни в чем не бывало.

Некоторые мусора женаты и имеют детей, такие есть, я точно знаю. Как-то раз я попытался с Дылдой обсудить, какво иметь отцом легавого, но он не проявил интереса, сказал, чего ради мечтать, и отвалил. Вообще с наркоманами разговаривать мало толку, им ничего не интересно.

Чтобы не возвращаться, я еще немного побродил по улицам, считая шаги – узнать, повезет мне или нет, но, правда, не очень заикливался на цифрах. Солнце еще светило. Когда-нибудь я поеду в деревню посмотреть, как это там. Да и море тоже могло бы заинтересовать меня, мосье Хамиль говорит о нем с большим уважением. Не знаю, чем бы я был без мосье Хамиля, ведь он научил меня всему, что я знаю. Во Францию он приехал еще мальчонкой со своим дядей и очень рано остался один, когда дядя умер, однако, несмотря на это, ему удалось много чего узнать. Сейчас он все больше впадает в детство, но это потому, что не рассчитано, что человек доживет до такой старости. Солнце было похоже на желтого клоуна, сидящего на крыше. Как-нибудь я отправлюсь в Мекку, мосье Хамиль говорит, что солнца там больше, чем в любых других местах, а причина этого в географии. Хотя думаю, что во всем остальном Мекка мало чем отличается от других мест. Мне бы хотелось уехать далеко-далеко, где все по-другому, но я даже и не пытаюсь придумывать как, чтобы все не испортить. Можно бы, конечно, оставить солнце, клоунов и собак, потому что из всего, что есть, это самое лучшее. А вот чтобы остальное было совсем небывалое и невиданное, сделанное специально для этой цели. Хотя думаю, что все в конце концов стало бы как обычно. Иногда просто смешно становится, стоит подумать, до чего же точно вещи оказываются на своих местах.

Было уже часов пять, и я поплелся в сторону дома, как вдруг увидел блондинку, которая поставила свою малолитражку под знаком, запрещающим стоянку. Я сразу узнал ее, потому что я жутко злопамятный. Это была та сучка, которая недавно заигрывала со мной, а потом махнула мне хвостом, ну и я от нечего делать пошел за ней. Удивлен я был жутко: в Париже столько улиц, и встретить кого-нибудь здесь можно только по большой случайности. Меня она не заметила, я был на другой стороне, но быстро перебежал через улицу, чтобы попасться ей на глаза, но она торопилась, а может, и думать про меня забыла, ведь прошло уже больше двух часов. Она вошла в дом под номером тридцать девять, а там во дворе был еще один дом. Я даже не успел забежать ей наперерез, чтобы она меня увидела. Волосы у нее были такие же белокурые и пышные, а одета она была в пальто из верблюжьей шерсти и брюки. Л уж хвост от ее духов тянулся за ней метров на пять, не меньше. Машину она не закрыла на ключ, и сперва я решил стырить у нее там что-нибудь, чтобы запомнила меня, но мне было так отвратно из-за этого моего дня рождения и всего прочего, что я даже был удивлен, сколько же во мне вмещается. Набралось слишком много для меня одного. Какого черта, сказал я себе, воровать, все равно ведь она не узнает, что это я. Мне страшно хотелось, чтобы она увидела меня, но только не подумайте, будто я искал себе семью; мадам Роза пусть с трудом, но могла еще какое-то время протянуть. Мойше уже был пристроен, и насчет Бананчика тоже велись переговоры, а за себя я мог не бояться. Никаких страшных болезней у меня нет, я не дефективный, а на это, когда вас выбирают, люди смотрят первым делом. Понять их еще как можно: люди согласились и берут вас, а потом оказывается, что родители у вас были алкоголики, в вот они остаются с вами на руках, хотя полно отличных мальцов, которых никто не усыновляет. Да я бы тоже, если бы мог выбирать, выбрал бы самое лучшее, и уж, можете мне поверить, не старую еврейку, едва таскающую ноги, из-за которой, стоит мне увидеть ее в таком состоянии, все внутри у меня переворачивается и не хочется жить. Будь мадам Роза собакой, ее давно бы уже усыпили, но ведь у нас к собакам относятся в сто раз добрей, чем к людям, которым не дадут умереть, пока они не намучаются до конца. Я это все вам рассказываю, чтобы вы не думали, будто я шел за мадемуазель Надин (потом я узнал, что ее так зовут) для того, чтобы мадам Роза могла спокойно умереть.

**Я** прошел во двор, а там был еще один дом, поменьше, и только я вошел в него, как услышал тако-о-е: выстрелы, визг тормозов, вопит женщина, а мужчина умоляет: «Не убивайте! Не убивайте меня!» Я даже подскочил, так это все было близко. Тут же раздалась автоматная очередь, мужчина закричал: «Нет!» – как обычно, когда не хотят умирать. Потом настала тишина, и она показалась мне еще ужасней того, что я только что слышал, а потом – вы можете мне просто не поверить. Потом все началось сначала: и этот же мужчина не хотел умирать, потому что у него были свои причины, и автоматная очередь в ответ. Мужичу этому при всем его нежелании пришлось умереть и в третий раз, словно он был такая неслыханная сволочь, что его мало было убить один раз, а надо было для примера прикончить трижды. И опять настала тишина, во время которой он оставался мертвым, но тут за него взялись в четвертый в в пятый раз, так что в конце концов мне даже стало его жаль, потому что нельзя же так. Наконец они оставили его в покое, и я услышал женщину, повторявшую: «Любимый, любимый», – но таким трогательным голосом и с таким искренним чувством, что я прямо ошалел, хотя и не мог взять в толк, что все это значит. В коридорчике я был один, если не считать двери с горящей над ней красной лампочкой. Я едва успел прийти в себя от волнения, как они снова начали этот бардак с «любимый, любимый», правда, всякий раз чуть другим тоном, и повторялось это несколько раз. Мужик раз шесть умер в объятиях этой жалостливой женщины, наверно, чтобы он мог почувствовать: есть на свете человек, пожалевший о нем. А я подумал про мадам Розу, у которой не было никого, кто бы причитал над ней «любимая, любимая», потому что у нее, можно сказать, совсем не осталось волос, зато весила она девяносто пять кило, и каждый следующий килограмм был тяжелей предыдущего. Но тут эта женщина, было замолчавшая, завопила так отчаянно, что я распахнул дверь и ворвался в комнату, словно был единственным мужчиной на свете. Во дерьмо, там был экран как в кино, только все на нем двигалось задом наперед. Когда я, значит, влетел туда, женщина упала на труп, чтобы умереть на нем, и в тот же миг встала, но спиной вперед, и начала пятиться, ну прямо как кукла, хотя двигалась совсем как живой нормальный человек. Экран сразу после этого погас, и загорелся свет.

Эта девушка, которая меня бросила, стояла посреди зальчика у микрофона перед рядом кресел и, когда свет зажегся, увидела меня. По углам там сидели еще трое или четверо мужчин, но без оружия. Я стоял разинув рот, и вид у меня, наверно, был самый мудацкий, я это понял по их глазам. Блондинка узнала женья, разлыбилась во весь рот, что мне чуточку подняло настроение; видать, я произвел на нее впечатление.

– О! Да это мой приятель!

Никакими мы не были приятелями, но спорить я не стал. Она подошла ко мне, стала разглядывать Артюре, хотя я отлично понимал, что ее интересую я. Нет, от женщин иногда можно со смеху подохнуть.

– А это что?

– Старый зонтик, я ему сделал прикид.

– Забавно, в этом наряде он смахивает на фетиш. Это твой друг?

– Вы что, за придурка меня принимаете? Это не друг, это зонтик.

Она взяла Артюра и притворилась, будто его рассматривает. Остальные тоже выпялились на него. Никто, когда усыновляет ребенка, не хочет, и это первое дело, чтобы тот оказался придурком. А значит это, что малец решает перестать развиваться, потому как ему неинтересно. И несчастные родители не знают, чего делать. Вот, к примеру, парню пятнадцать, а ведет он себя так, будто ему десять. Но заметьте, обгонять тоже нельзя. Если парню десять, как мне, а ведет он себя так, словно ему пятнадцать, его вышибают из школы, потому что он нарушает порядок.

– А он красивый с этим зеленым лицом. Почему ты сделал ему зеленое лицо?

От нее так приятно пахло, что я вспомнил мадам Розу, до того их запахи были разные.

– Это не лицо, это тряпка. Нам запрещаются лица.

– Как это – запрещаются?

Глаза у нее были голубые, очень веселые и довольно приятные; она присела перед Артюром, но сделала она это для меня.

– Я – араб. Наша вера запрещает лица.

– Ты хочешь сказать, запрещает изображать?

– Это грех перед Богом.

Она бросила на меня быстрый взгляд, как будто ни в чем не бывало, но я прекрасно видел, что произвел на нее впечатление.

– Тебе сколько лет?

– Я вам уже говорил, когда мы в первый раз с вами встретились. Десять. Как раз сегодня исполнилось. Но возраст – это не главное. У меня есть друг, которому восемьдесят пять, и ничего.

– А как тебя звать?

– Вы же меня уже спрашивали. Момо.

Потом ей надо было снова работать. Она объяснила мне, что это у них называется зал дубляжа. Люди на экране открывают рты, как будто говорят, но голоса им дают те, которые сидят в этом зале. Они вкладывают свои голоса прямо в рот этим, которые на экране. Ну точь-в-точь как у птиц, когда они кормят птенцов. Если с первого раза не получилось и голос раздастся не вовремя, переделывают. И тогда жутко интересно смотреть: все начинает идти назад. Мертвые оживают и, пятясь, занимают свое место среди действующих лиц. Достаточно нажать на кнопку, и все возвращается как было. Машины катят задним ходом, собаки бегут задом наперед, а взорванные дома в один миг на ваших глазах поднимаются и восстанавливаются. Пули вылетают из тел, возвращаются в стволы автоматов, и убийцы пятятся и задом

наперед выскакивают из окна. Если на пол выплеснули воду, она поднимается и возвращается в стакан. Пролитая кровь всасывается в тело, от нее и следа не остается, и рана закрывается. Кто-нибудь харкнул, и его харкотина влетает ему обратно в пасть. Лошади скачут задом наперед, а тип, который вылетел с восьмого этажа, оживает и возвращается обратно в окно. Настоящий мир наоборот, и ничего прекраснее в своей дерьмовой жизни я, наверно, не видел. И был момент, когда я даже увидел бодрую и молодую мадам Розу со здоровыми ногами, и тогда я отогнал еще немножко назад, и она стала еще красивей. У меня от этого даже слезы на глаза навернулись.

Я пробыл там довольно долго, потому что спешить мне было некуда, а когда еще представится такое развлечение. Особенно мне нравилось, когда убивали женщину, она пару секунд лежала мертвая, чтобы ее пожалели, а потом вставала, словно поднятая невидимой рукой, пятилась задом и вновь была живая как ни в чем не бывало. Хмырь, над которым она причитала «любимый, любимый», лежал точно куча тряпок, но меня это ничуть не колыхало. Люди, работавшие в том зале, видели, что мне жутко нравится это кино, и объяснили, что можно, закончив, вот так вот вернуться к началу, и один из них, с бородой, пошутил: «В земной рай». Правда, тут же добавил: «Только вся беда, что, когда снова начинаешь, получается все то же, что было». А блондинка мне сказала, что ее зовут Надин и что это ее профессия – делать так, чтобы люди в кино говорили человеческими голосами. Мне даже ничего не хотелось, до того было интересно. Ну представьте сами: дом горит, рушится, а потом – хоп! – пожар гаснет, и дом встает как новенький. Чтобы поверить в такое, надо видеть собственными глазами, потому что рассказы о том, что кто-то видел, это совсем другое дело.

И тут-то случилось событие. Нет, я не могу сказать, будто я вернулся так далеко назад, что увидел маму, просто увидел, как я сижу на полу, а передо мной ноги в длинных сапогах и кожаная мини-юбка; я жутко старался поднять глаза, чтобы увидеть лицо, потому что знал – это моя мама, но ни фи́га не вышло: воспоминания не могут поднять глаз. Мне даже удалось вернуться назад еще дальше. Я чувствовал, меня держат две теплые руки и укачивают меня, у меня болит живот, и та, которая меня держит на руках, ходит туда-сюда и напевает, но живот все равно болит, а потом из меня вылезают какашки, они лежат на полу, боль сразу проходит, потому как я облегчился, а женщина с теплыми руками целует меня и смеется таким радостным смехом, и он звучит у меня в ушах, звучит, звучит. . .

– Тебе нравится?

Я сидел в кресле, и экран был пуст. Свет включен, а блондинка подошла ко мне.

– Нормально.

А потом я снова любовался хмырем, который получал очередь из автомата в живот, потому что был кассиром в банке, а может, из соперничающей банды, и скулил: «Не убивайте меня! Не убивайте меня!» – короче, вел себя как последний мудака, потому что ничего это не дает, все равно получишь что заслужил. В кино мне больше нравится, когда убитый, ну, перед тем как его пришьют, говорит: «Делайте свое дело, господа», – это значит, он понимает, что к чему, а плакаться перед парнями и взывать к их добрым чувствам – полная безнадега. Но тот, который дублировал, не сумел найти правильный тон, потому пришлось все вернуть назад и повторить. Этот хмырь сперва протягивал вперед руки, чтобы удерживать пули, и как раз в этот момент он и кричал «нет, нет» и «не убивайте меня, не убивайте меня» голосом мужика, который в полной безопасности произносил это в зале в микрофон. А потом он падал и корчился, это всегда нравится, когда глядишь кино, и наконец замирал. Гангстеры еще раз стреляли в него, чтобы быть уверенными, что он не сможет их заложить. И вот тут, когда, казалось, все кончено и никакой надежды, все шло назад, этот хмырь приподнимался, словно Божья рука его схватила за шиворот, и вставал на ноги, чтобы его можно было еще раз

прикончить.

А потом мы смотрели другие куски, и некоторые приходилось прокручивать раз по десять, чтобы все получилось как надо. Слова тоже крутились назад и звучали задом наперед, таинственно, словно на никому не известном языке, хотя, может, и сообщали что-то важное.

Когда же на экране ничего не было, я забавлялся тем, что воображал счастливую мадам Розу, и волос на голове у нее было как до войны, и ей даже не нужно было работать, потому что это был мир наоборот.

Блондинка погладила меня по щеке; она, надо сказать, была симпатяга, и это было грустно. Я думал о ее двух детях, которых видел собственными глазами, и это тоже было грустно, да еще как.

– Похоже, тебе это очень нравится.

– Да, я хорошо оттянулся.

– Можешь приходить сюда когда захочешь.

– У меня не так уж много свободного времени, так что обещать ничего не могу.

Она пригласила меня на мороженое, и я не стал отказываться. Я ей нравился, и, когда взял ее за руку, чтобы шла быстрее, она улыбнулась. Мороженое я выбрал шоколадное с клубникой и фисташками, но потом пожалел: надо было взять ванильное.

– Мне здорово нравится, когда можно все вернуть назад. Я живу у женщины, которая скоро умрет.

Она и ложечки мороженого еще не съела, смотрела на меня. Волосы у нее были такие светлые, что я не удержался, протянул руку и потрогал их, а потом засмеялся, потому что это и вправду было смешно.

– У тебя родители не в Париже?

Я не знал, что ей ответить, и потому продолжал уминать мороженое, а мороженое я люблю больше всего на свете.

Она не стала переспрашивать. Мне вообще жутко действует на нервы, когда спрашивают, а чем занимается твой папа и где твоя мама; по мне, так это вовсе не тема для разговора.

А она взяла листок бумаги, ручку, что-то написала и три раза подчеркнула, чтобы я не вздумал потерять.

– Держи, тут моя фамилия и адрес. Можешь приходить когда захочешь. У меня есть друг, который занимается детьми.

– Психиатр, – сказал я.

Она удивилась:

– Почему ты так решил? Во-первых, детьми занимаются педиатры.

– Это когда они совсем мальцы. А потом психиатры.

Она молчала и смотрела на меня так, словно я ее напугал.

– Кто это тебе сказал?

– У меня есть дружок, Дылда, так он все четко знает, потому как проходил дезинтоксикацию. Проводили ее в детском центре.

Она положила свою ладонь на мою и наклонилась ко мне:

– Ты ведь сказал, что тебе десять лет?

– Ну да.

– Для своего возраста ты много знаешь. . . Ну как, договорились? Зайдешь к нам?

Я еще съел мороженого. Настроение у меня было самое паршивое, а хорошие вещи, они кажутся еще лучше, когда нет настроения. Я это часто замечал. Когда хочется подохнуть, шоколад в сто раз вкусней, чем обычно.

– У вас уже есть.

Она не усекла, это было видно по ее взгляду.

Я лизнул мороженого и мстительно глянул ей прямо в глаза.

– Я видел вас совсем недавно, когда мы чуть не столкнулись. Вы возвращались к себе домой. У вас уже есть двое детей. Блондиночки, как вы.

– Ты что, шел за мной?

– Ну да. Вы же притворялись со мной.

Не знаю, что с ней вдруг случилось, но, клянусь вам, у нее были такие глаза, прямо не знаю даже, как сказать. Знаете, как будто они стали в четыре раза больше, чем только что.

– Мохаммед, послушай. . .

– Зовите меня лучше Момо, Мохаммед – это слишком длинно.

– Послушай, Момо, у тебя есть мой адрес и моя фамилия, не потеряй их и приходи ко мне в гости когда хочешь. . . Ты где живешь?

Ну уж нет. Если такая девушка, как она, прикатит к нам и узнает, что такое тайный пансион для детей шлюх, позор будет на весь мир. Нет, я вовсе на нее не рассчитывал, я ведь знал, что у нее уже есть двое, просто для порядочных людей дети шлюх сразу связываются с сотинерами, сводниками, гангстерами и детской преступностью. У нас офигенно скверная репутация в глазах порядочных людей, уж поверьте моему большому опыту. Они вас никогда не возьмут, потому что тут начинается то, что доктор Кац называет влиянием семейной среды, и страшней шлюх для них ничего не может быть. И потом, они боятся, что такие дети больны венерическими болезнями, потому что эти болезни передаются по наследству. Отказывать ей не хотел, но адрес дал фальшивый. А ее бумажку взял и положил в карман: никогда ведь не знаешь, как дела обернутся, хотя чудес не бывает. Она продолжала расспрашивать меня, я ничего толком не отвечал, но умял еще одну порцию мороженого, ванильного. Ничего лучше ванильного на свете нет.

– Ты познакомишься с моими детьми, и мы все вместе поедem за город, в Фонтенбло. . . У нас там дом. . .

– Ну ладно, пока.

Я резко встал, потому что ничего я у нее не просил, и ушел, убежал вместе с Артюром.

Я немножко позабавился – попугал водителей, перебегая в последний момент улицу. Люди жутко боятся задавить ребенка, и я радовался, чувствуя, что произвожу на них впечатление. Они изо всех сил давили на тормоза, чтобы не сбить меня, и это все-таки что-то. Я бы и пострашней их напугал, да только больше нечем было. Пока я еще не знаю, пойти ли в легавые или в террористы, решу позже, когда придет время. Но в любом случае надо, чтоб была организованная банда, потому что, если ты один, это все равно что ничего, зряшное дело. И потом, мне не больно-то нравится убивать, скорее наоборот. Нет, я бы, пожалуй, хотел стать кем-нибудь вроде Виктора Гюго. Мосье Хамиль говорит, что словом можно сделать все, даже вовсе не убивая людей, и, когда у меня будет время, я попробую. Мосье Хамиль говорит, что слово сильнее всего. Если хотите знать мое мнение, то парни, которые с оружием, стали такими, потому что на них не обращали внимания, когда они были мальцами, и они так и остались неизвестными. На свете слишком много детей, чтобы всех их замечать, некоторым даже приходится подыхать с голоду – и только тогда на них обращают внимание, или же они организуют банды, чтобы быть на виду. Мадам Роза говорила, что в мире помирают миллионы детей, а есть даже такие, которые позируют для фотографий. Мадам Роза говорила, что солон – это враг рода человеческого и что единственный приличный среди людских целителей – Иисус, потому что он родился без участия солопа. Но это исключительный случай, говорила она. А еще она говорила, что жизнь может быть замечательно прекрасной, но такую пока



еще не изобрели, и поэтому надо просто жить. Мосье Хамиль тоже рассказывал мне много хорошего о жизни, и особенно о персидских коврах.

Перебегая перед машинами, чтобы напугать водителей, потому что, можете мне поверить, задавленный мальчишка никого не осчастливит, я чувствовал себя очень важным и понимал, что могу доставить им кучу неприятностей. Нет, я, конечно, не дал бы задавить себя только для того, чтобы достать их, но доводил я их здорово. У меня есть приятель, зовут Клодо, так вот он точно так же забавлялся и, как мудака, упал; после этого он получил право три месяца кантоваться в больнице, где за ним ухаживали, между тем как дома, если бы он потерял ногу, отец погнался бы его ее искать.

Стало уже совсем темно, и мадам Роза небось была вне себя от страха, потому что я до сих пор не вернулся. Ну, я побежал домой бегом, все-таки мадам Роза целый день оставалась без меня, и я чувствовал угрызения совести.

Я с первого взгляда усек, что, пока меня не было, ей стало еще хуже, особенно с чердаком, то есть с головой; это вообще у нее теперь было самое слабое место. Она часто мне со смехом говорила, что жизни у нее не больно-то нравится, и теперь это стало ясно видно. Все у нее было больное. Уже больше месяца она не могла ходить за покупками из-за этой чертовой лестницы и как-то сказала, что, если бы не надо было заботиться обо мне, у нее не было бы никакого интереса жить.

Я рассказал ей, что видел в этом зале, где все возвращают назад, но она только чуть улыбнулась, и мы занялись ужином. Мадам Роза знала, что все у нее со страшной скоростью разлагивается, но готовила пока еще очень хорошо. Единственное, чего она ни за что на свете не хотела иметь, так это рак, и хоть тут-то ей повезло, потому что только рака у нее и не было. А все остальное пришло в такую негодность, что даже волосы у нее перестали выпадать, потому как вся механика выпадения их тоже окончательно разладилась. В общем, пришлось мне сбегать за доктором Кацем, и он пришел. Он был не такой уж и старый, но не мог позволить себе подниматься по лестницам, потому что они действуют на сердце. У нас тогда было трое мальцов, которых сдавали нам на будни, и послезавтра двоих забирали, а третий уезжал со своей матерью в Абиджан, которая устроилась туда в секс-шоп. Позавчера после двадцати лет работы на Центральном рынке она отпраздновала свой последний выход на панель и потом признавалась мадам Розе, что была страшно взволнована и вообще почувствовала себя в один миг постаревшей. Мы помогли доктору Кацу подняться, поддерживая его со всех сторон, и он велел нам выйти, чтобы осмотреть мадам Розу. А когда мы вернулись, мадам Роза была вся счастливая: рака у нее не оказалось; доктор Кац – великий врач и хорошо сделал свою работу. Потом он оглядел всех нас, но когда я говорю «всех», к остальным мальчикам это не относится: я знал, что скоро останусь тут один. Ходили сплетни, будто еврейка нас морит голодом. Я даже не помню, как звали тех трех мальцов, кроме одной девчонки – Эдит; Бог его знает, почему я запомнил ее имя, ей не было и четырех лет.

– Кто тут старший?

Я, как обычно, ответил ему: я, Момо, потому что я никогда не был настолько младшим, чтобы увильнуть от неприятностей.

– Так вот, Момо, я сейчас выпишу рецепт, а ты сбегаешь в аптеку.

Мы вышли на площадку, и он взглянул на меня, как обычно смотрят, когда хотят сказать какую-нибудь неприятность.

– Послушай, малыш, мадам Роза очень больна.

– Но ведь вы же сказали, что у нее нет рака.

– Нет, этого нет, но, если говорить откровенно, все крайне, крайне скверно.

Он объяснил мне, что у мадам Розы столько болезней, что хватило бы на десятерых, и ее надо положить в больницу, в большую палату. Я очень хорошо запомнил, что он сказал о большой палате, как будто для всех ее болезней нужно было много места, но думаю, сказал он так, чтобы представить больницу в благоприятном свете. Я не знал всех названий, которые с удовлетворением перечислял доктор Кац, но ясно было, что он много чего нашел у нее. Включился я, только когда он сказал, что у мадам Розы все так изношено, что в любой момент может случиться удар.

– Но главное, конечно, это сенильность, или, если ты предпочитаешь, старческий склероз мозга. . .

Ничего я не предпочитал, но не стал с ним спорить. Он объяснил мне, что артерии у мадам Розы сужены, сосуды закрываются и не происходит соответствующей циркуляции.

– Кровь и кислород не питают в нужной мере ее мозг. Она перестанет соображать и будет

вести растительное существование. Затянуться это может надолго, и иногда у нее могут быть просветы, проявляться проблески разума, но это неизлечимо, ты уж прости меня, мальчик, прости.

Мне, ей-богу, стало смешно, когда он говорил «прости меня, мальчик, прости», как будто он был в чем-то виноват.

– Но это не рак, да?

– Никакого рака. Тут ты можешь быть совершенно спокоен.

Все-таки это была хорошая новость, и я разревелся. Я был жутко рад, что худшего мы избежали. Я сидел на лестнице и ревел как корова. Правда, коровы на самом деле не плачут, это просто так говорится.

Доктор Кац сел на ступеньку рядом со мной и положил мне руку на плечо. Борода у него была как у мосье Хамиля.

– Не плачь, малыш. Старики умирают, это естественно. А у тебя вся жизнь впереди.

Он что, гад, испугать меня хотел или как? Я давно заметил, старики всегда говорят «ты еще молодой, у тебя вся жизнь впереди» с такой улыбкой, словно это доставляет им удовольствие.

Ладно, теперь я знал, что вся жизнь у меня впереди, но портить себе из-за этого кровь я не собираюсь.

Я помог доктору Кацу спуститься и вихрем взлетел наверх, чтобы сообщить мадам Розе хорошую новость:

– Ну вот, мадам Роза, рока у вас точно нет. Доктор сказал это совершенно определенно.

Она заулыбалась во весь рот, и улыбка казалась просто необъятной, потому что у нее почти не осталось зубов. Когда мадам Роза улыбалась, она становилась не такой старой и страхолюдной, потому что сохранила молодую улыбку благодаря заботам о своей внешности. У нее есть фото, где ей пятнадцать лет, это было еще до того, как немцы принялись за ликвидацию евреев, и, когда смотришь на это фото, невозможно просто поверить, что мадам Роза превратится в такую, какая она сейчас. А с другой стороны, даже в голове не укладывается, что в пятнадцать лет она была такая, как на фото. Просто ничего общего. В пятнадцать лет у мадам Розы были красивые рыжие волосы, а улыбка – будто там, впереди, куда она идет, ее ждут одни радости. У меня прямо живот начинал болеть, когда я смотрел на нее в пятнадцать лет и в нынешнем ее состоянии. Да, жизнь истрепала ее, ничего не скажешь. Иногда я вставал перед зеркалом и пытался представить, каким я буду, когда жизнь меня истреплет: растягивал пальцами рот и строил страшные рожи.

Вот так я объявил мадам Розе самую лучшую новость в ее жизни – что у нее нет рака.

Вечером мы открыли бутылку шампанского, подаренную мосье Н’Да Амеди, чтобы отпраздновать, что у мадам Розы нет наихудшего врага народа, как говорил мосье Н’Да Амеди, потому что он собирался заняться еще и политикой. Ради шампанского она навела красоту, и мосье Н’Да Амеди, похоже, даже был удивлен. Потом он ушел, но в бутылке еще немножко осталось. Я налил остатки в бокал мадам Розы, мы чокнулись, я закрыл глаза и повел ее задним ходом, пока ей не стало пятнадцать, как на той фотографии, и мне даже удалось ее такую поцеловать. Шампанское мы прикончили, я сидел на табурете рядом с ней и старался выглядеть веселым и радостным, чтобы успокоить ее.

– А скоро, мадам Роза, вы поедете в Нормандию, мосье Н’Да Амеди отвалит вам на это бабок.

Мадам Роза вечно твердила, что коровы самые счастливые существа на свете, и мечтала уехать жить в Нормандию, где хороший воздух. Похоже, никогда у меня не было такого сильного желания стать легавым, как в тот вечер, когда я сидел на табурете и держал ее за руку, потому что чувствовал я себя таким бессильным. Потом она потребовала розовый халат,

но не смогла влезть в него: халат был тех времен, когда она еще была шлюхой, а за полтора десятка лет мадам Роза здорово растолстела. Я вот считаю, что люди недостаточно уважают старых шлюх, а когда они молодые, то их преследуют. Я бы, если бы мог, заботился только о старых шлюхах, потому что у молодых есть сотинеры, а у старых никого. Я принимал бы только тех, которые старые, страшные и ни на что больше не годны, стал бы их сотинером, заботился бы о них, чтобы все было по-справедливому. Я стал бы самым главным легавым и сотинером на целом свете и сделал бы так, чтобы никто никогда не смог больше увидеть старую беспомощную шлюху, которая плачет на седьмом этаже без лифта.

– Ну, а кроме этого, что еще сказал тебе доктор? Я умру?

– Ничего особенного, мадам Роза, он не говорил, даже не сказал, что вы умрете как все.

– А что у меня?

– Он не перечислял, сказал только, что всюду всего понемножку.

– А насчет ног?

– Ничего специально про ноги он не говорил, а потом, мадам Роза, вы сами прекрасно знаете, что умирают не от ног.

– Говорил он что-нибудь про сердце?

– Нет, особо не распространялся.

– Я слышала, он упоминал растительное. К чему это он?

– Да к тому, мадам Роза, что для здоровья надо есть растительную пищу, ну, овощи то есть, и вы сами нас всегда заставляли есть овощи. Бывало, на одних овощах и держали.

Глаза у нее были полны слез, и я сходил оторвать подтирочной бумаги, чтобы утереть их.

– Ах, Момо, что будет с тобой без меня?

– Да ничего страшного не будет, и потом, еще ведь не вечер.

– Ты красивый мальчик, Момо, а это опасно. Тебе надо быть настороже. Обещай мне, что никогда в жизни не будешь зарабатывать жопой.

– Обещаю.

– Нет, поклянись.

– Клянусь вам, мадам Роза. С этой стороны вы можете быть спокойны.

– Момо, запомни раз и навсегда: жопа – это самое святое, что есть у мужчины. В ней его честь. Не давай никому никогда, даже если будут платить большие деньги. Даже если я умру и у тебя на целом свете не останется никого, кроме твоей жопы, не ступай на эту дорожку.

– Знаю, мадам Роза, это женская профессия. А мужчина должен быть таким, чтобы его уважали.

Мы так просидели около часа, я держал ее за руку, и от этого ей было не так страшно.

Когда мосье Хамиль узнал, что мадам Роза больна, то хотел подняться повидать ее, но при его восьмидесяти пяти годах без лифта об этом и думать было нечего. Познакомились они тридцать лет назад, когда мосье Хамиль торговал коврами, а мадам Роза своим товаром, и это просто несправедливо, что теперь они не могли увидаться из-за лифта. Он хотел написать ей стишок Виктора Гюго, но он тоже лишился глаз, так что пришлось мне заучить наизусть этот стишок со слов мосье Хамиля. Начинался он «soubhan ad daim la iazoul», что означает «только Предвечный никогда не кончается», и я быстренько побежал на седьмой этаж, пока еще не забыл, и прочел его мадам Розе; правда, два раза я сбивался, и мне пришлось дважды спускаться с седьмого этажа, чтобы спросить у мосье Хамиля те строчки Виктора Гюго, которые выпали у меня из памяти.

Я сказал себе, что было бы очень здорово, если бы мосье Хамиль женился на мадам Розе, они примерно в одном возрасте и могли бы стариться до смерти вместе, а это всегда приятнее. Я потолковал об этом с мосье Хамилем, сказал, что его можно было бы, чтобы он сделал предложение, поднять на седьмой этаж на носилках, а потом перевезти обоих в деревню и оставить там, пока они не умрут. Сказал я, конечно, не так чтобы впрямую, потому что это и невежливо, да и не больно-то может соблазнить, а просто заметил, что гораздо лучше жить вдвоем, когда есть с кем перекинуться словом. И еще я добавил мосье Хамилю, что он может прожить и до ста лет, потому как жизнь, похоже, про него забыла, а кроме того, он два раза интересовался мадам Розой, и сейчас самое время воспользоваться возможностью. Они оба нуждаются в любви, а поскольку в их возрасте это уже невозможно, они должны объединить свои усилия. Я даже принес фото, на котором мадам Розе пятнадцать лет, и мосье Хамиль рассматривал его сквозь особые очки, в которых он видит лучше, чем в других. Он держал фото очень далеко, потом подносил чуть ли не к самому носу и, наверно, что-то все-таки рассмотрел, потому что у него были слезы на глазах, но вовсе не от расстройства, а просто он очень старенький. Старики не могут сдерживать слезы.

– Вы же видите, какая мадам Роза была красивая, до того как все произошло. Вы просто должны пожениться. Ладно, я все понимаю, но вы ведь всегда можете глянуть на фотографию, чтобы вспомнить, какая она была.

– Ах, малыш Мохаммед, может, лет пятьдесят назад я и женился бы на ней, если бы тогда знал ее.

– Да за пятьдесят лет вы бы осточертели друг другу. А сейчас вы даже не сможете как следует друг друга разглядеть, а чтобы осточертеть, у вас просто не хватит времени.

Перед ним стояла чашка кофе, и он сидел, положив руку на Книгу Виктора Гюго, и выглядел счастливым, потому что он такой человек, который многого не требует.

– Мохаммед, я не смог бы жениться на еврейке, даже если бы был способен.

– Да она сейчас никакая не еврейка, мосье Хамиль, и вообще никакая, просто у нее все больное. И вы тоже уже такой старый, что теперь пора уже Аллаху думать о вас, а не вам об Аллахе. Вы ходили встречаться с Ним в Мекку, а теперь Он должен побеспокоиться о вас. Так почему бы вам в восемьдесят пять лет, когда вы уже ничем не рискуете, не жениться?

– И что же мы будем делать, когда поженимся?

– Заботиться друг о друге, чего же еще? Ведь для этого люди и женятся.

– Слишком я старый, чтобы жениться, – ответил мне мосье Хамиль, как будто для всего остального он был не слишком старый.

Я уж просто не решался смотреть на мадам Розу, до того все с ней было плохо. Остальных детей забрали, а когда приходила какая-нибудь шлюха договариваться насчет пансиона, то видела, что мадам Роза полная развалина, и не решалась оставить своего мальчика. Но самое

ужасное, что мадам Роза стала все больше и больше мазаться румянами, а иногда строила глазки и делала всякие там ужимки, словно до сих пор еще работала на панели и ей нужно было завлекать клиентов. Тут я уже не выдерживал, просто не хотел смотреть на это. Я спускался на улицу и целыми днями шлялся, а мадам Роза с ярко накрашенными губами оставалась одна в пустой комнате и заигрывала с несуществующими клиентами, строя глазки и делая завлекающие гримасы. Бывало, я садился на тротуар и заставлял все двигаться назад, как в зале для дубляжа, только еще дальше. Из дверей выходили люди, а я заставлял их возвращаться обратно задом наперед, а с мостовой убирал все машины, и никто не мог даже приблизиться ко мне. Да, я не был в своей олимпийской форме, это уж точно.

**К** счастью, у нас имелись соседи и было кому помочь. Я вам уже говорил про мадам Лолу, которая жила на пятом и работала в Булонском лесу как транссвистит, и, прежде чем ехать туда, у нее ведь была машина, она частенько заглядывала к нам, чтобы помочь, если надо. Ей было всего тридцать пять, так что впереди ее ожидало еще много успехов. Она приносила нам шоколад, копченую лососину и шампанское, а стоит это жутко дорого, и вот поэтому у тех, кто зарабатывает шахной или жопой, никогда не бывает денег в загашнике. В ту пору как раз пошли слухи, будто среди североафриканских рабочих холера, они привезли ее из Мекки, и мадам Лола всегда первым делом мыла руки. Она страшно боялась холеры, которая любит грязь и не выносит гигиены. Я не знаю, что такое холера, но не думаю, что она такая ужасная, как о ней рассказывала мадам Лола; это просто болезнь, и чего уж на нее все валить. Иногда меня так и подмывало выступить в защиту холеры, потому что она не виновата, что она такая, не сама же она решила стать холерой, ей так было назначено.

Мадам Лола всю ночь ездила в машине по Булонскому лесу и говорила, что она – единственный сенегалец, который занимается этим, и что она очень нравится клиентам, потому что, когда раздевалась, у нее оказывались и красивые буфера, и солоп. Буфера она искусственно подкармливала, как цыплят. Раньше мадам Лола была боксером, и потому она такая сильная, что запросто может поднять стол за ножку, но платят-то ей не за это. Мне они очень нравились, потому как была ни на что не похожая, и вообще ее и сравнивать не с кем. Я быстренько смекнул, что мной она интересуется, потому что ей хочется иметь детей, но при ее профессии она иметь не могла, да и того, что для этого необходимо, у нее не было. Она носила белокурый парик, а буферам ее любая женщина позавидовала бы, она каждый день подкармливала их гормонами; ходила в туфлях на высоких каблуках, покачивая бедрами, со всякими там гомосекными ужимочками, чтобы возбуждать клиентов, но, честно вам скажу, она и впрямь была особенная, не такая, как все, и вызывала доверие. Я никогда не понимал, почему людей делят по тому, куда они дают, и какое это имеет значение, если вам от этого нет никакого вреда. Ну, я чуточку к ней подлещивался, потому что нам без нее было никак, она нам и башлей подбрасывала, и готовила, и когда с ужимочками и причмокивая пробовала соус, то пританцовывала на высоких каблуках и серьги у нее раскачивались туда-сюда. Она рассказывала, что, когда была молодая и жила в Сенегале, побила в три раунда Кида Говеллу, но всегда чувствовала себя несчастной, оттого что была мужчиной. Я говорил ей: «Мадам Лола, вы не такая, как все», – и это доставляло ей удовольствие, она мне отвечала: «Да, малыш Момо, я – существо, о котором можно только мечтать», – это было правдой, она была похожа на синего клоуна или на Артюра, мой зонтик, хотя они совсем разные. «Когда ты вырастешь, Момо, ты поймешь, что существуют внешние признаки, которые все уважают, но которые ничего не значат, вроде яиц, потому что они случайность природы». Мадам Роза сидела в своем кресле и умоляла ее не больно распускать язык, потому как я еще ребенок. Нет, правда, мадам Лола была симпатяга, потому что была совершенно наоборот и не вредная. Лицо у нее красивое, по со следами, что раньше она была боксером, и, когда вечером она в туфлях на высоких каблуках, в белокуром парике, с серьгами, в белом джемперке, красиво обтягивающем грудь, с розовым шарфиком на шее, потому что транссвиститы прячут кадык, в юбке с разрезами по бокам, в которые видны были подвязки, собиралась выходить, выглядела она просто потрясающе, можете мне поверить. Иногда на день или два она попадала в Сен-Лазар, возвращалась оттуда совершенно без сил, ложилась и принимала снотворное, потому что это неправда, будто в конце концов люди ко всему привыкают. А однажды к ней приехала полиция, искала наркоту, но это было необоснованно: просто товарки, которые завидовали ей, наступали на нее. Я сейчас рассказываю вам о том времени, когда мадам Роза могла говорить

и с головой у нее все было в порядке, кроме редких случаев, когда она вдруг останавливалась на полуслове и сидела с открытым ртом, глядя прямо перед собой с таким видом, будто она не знает, кто она, где находится и что тут делает. Доктор Кац называл это состоянием опупения. Только у нее оно было сильнее, чем у остальных, и регулярно повторялось, хотя карпа по-еврейски она готовила все так же вкусно. Мадам Лола заходила каждый день, рассказывала новости и, когда дела в Булонском лесу шли хорошо, давала нам денег. В квартале ее очень уважали, а те, кто пробовал тянуть на нее, получали по морде.

Не знаю, что бы мы делали у себя на седьмом этаже, если бы не было шести остальных, где тоже были жильцы, и они никогда не пробовали навредить нам. Никто из них ни разу не стукнул в полицию на мадам Розу, когда она держала по десятку детей шлюх, которые устраивали на лестнице жуткий бордель.

На третьем этаже у нас жил даже француз, но вел себя незаметно, как будто его вообще не было. Он был высокий, сухопарый, ходил с тростью и жил себе тихо, что его даже не замечали. Узнав, что здоровье мадам Розы стало совсем никуда, он поднялся на четыре этажа, которые разделяли нас, и постучал к нам в дверь. Вошел, поздоровался с мадам Розой, дескать, мадам, позвольте засвидетельствовать вам мое почтение, уселся, положив шляпу на колени, сидел он очень прямо, высоко держа голову, и достал из кармана конверт с почтовой маркой и его фамилией, написанной в самом начале адреса.

– Меня зовут Луи Шарметт, как свидетельствует этот адрес. Можете сами прочесть. Это письмо от моей дочери, она пишет мне каждый месяц.

И он протянул нам конверт со своей фамилией, словно желая доказать, что он это именно он, а не кто другой.

– Я пенсионер Национальной компании железных дорог, был административным работником. Узнал, что после двадцатилетнего проживания в этом доме вы заболели, и решил воспользоваться случаем.

Я уже вам говорил, что мадам Роза, кроме того, что была больна, много чего пережила, и от всяких неожиданностей ее бросало в холодный пот. А особенно когда она чего-нибудь не понимала, а такое у стариков случается нередко и с годами все чаще и чаще. Так что этот француз, не поленившийся подняться на четыре этажа, чтобы поздороваться с ней, произвел на нее жуткое впечатление, словно ей пришла пора умереть, а он – должностной представитель смерти. К тому же прикинут он был очень официально – черный костюм, рубашка с галстуком. Не думаю, что мадам Роза так уж хотела жить, но и умирать никакого желания у нее тоже не было, скорей, середка па половинку, она уже притерпелась. И я вообще считаю, что это самое правильное.

Мосье Шарметт сидел так прямо и неподвижно и выглядел таким важным и суровым, что мадам Роза перепугалась. Долгое время оба молчали, не знали, что сказать. Если хотите знать мое мнение, этот мосье Шарметт поднялся, потому что тоже был одинокий и хотел потолковать с мадам Розой, чтобы завести знакомство. Когда вы стареете, к вам заходят все реже и реже, ну, разве что у вас есть дети, которых закон природы обязывает навещать вас. Думаю, они оба боялись и смотрели друг на друга, точно говоря: после вас, нет, только после вас, пожалуйста. Мосье Шарметт был постарше мадам Розы, но он был тощий, а она расползлась во все стороны, так что в ней для болезней было куда больше места. Так всегда бывает: старухе, которой к тому же выпало еще быть еврейкой, гораздо труднее, чем какому-нибудь пенсионеру Национальной компании железных дорог.

Она сидела в своем кресле, держа в руке веер, оставшийся у нее с давних времен, когда женщинам еще делали подарки, и не знала, что сказать, до того она была потрясена. Мосье Шарметт сидел со шляпой на коленях и смотрел ей в лицо, как будто явился за ней, а у нее



даже голова тряслась, и вся она исходила потом. Смешно вообще подумать, будто смерть вот так вот может войти, сесть, положить на колени шляпу и пристально смотреть вам в глаза, прежде чем сказать, что пора. Но я-то видел, что это всего-навсего француз, у которого тут нет соотечественников и который заскочил к нам, воспользовавшись случаем, чтобы сообщить о своем существовании, когда весть о том, что мадам Роза больше никогда не спустится вниз, распространилась среди общественного мнения и дошла до тунисской лавки мосье Кебали, куда стекаются все новости.

У мосье Шарметта на лице уже была как бы тень, особенно вокруг глаз: они первыми западают и живут в глазницах своей отдельной, особой жизнью, и выражение у них такое, точно задают вопрос: почему, по какому праву это происходит со мной? Я очень хорошо помню его, помню, как он сидел напротив мадам Розы, совершенно прямой из-за спины, которая уже не гнулась – по законам ревматизма, усиливающегося с возрастом, особенно в холодные ночи, какие часто случаются, когда кончается лето. В лавочке он услышал, что мадам Роза давно не бывала тут, что ее главные органы поражены болезнью и уже ни к черту не годны, и, наверно, подумал, что такая особа поймет его лучше, чем все те, кого петух еще не клюнул, ну и поднялся к ней. А мадам Роза была в панике, ведь она впервые принимала у себя француза-католика, и он, прямой как палка, сидел напротив нее и молчал. Еще какое-то время они оба молчали, а потом мосье Шарметт понемножку разошелся и строгим голосом стал рассказывать мадам Розе, что за свою жизнь он сделал для французских железных дорог, но, ей-ей, это было чересчур для старой, уже здорово больной еврейки, и она просто не могла прийти в себя от удивления. Они оба чувствовали страх, ведь это же враки, будто природа – она добрая и делает только хорошее. Природа делает что ни попадя с кем ни попадя и даже не берет в голову, что она делает, ей без разницы, птица это, цветок или же старая еврейка с седьмого этажа, которая не может больше спускаться по лестнице. А мосье Шарметта я пожалел: было видно, что у него тоже нет никого и ничего, несмотря на все его социальное обеспечение. Но я считаю, что главным образом не хватает предметов первой необходимости.

Старые люди не виноваты, что под конец они все время болеют, и я вовсе не в восторге от законов природы.

Слушать, как мосье Шарметт рассказывает про поезда, вокзалы, часы отправления, это было, скажу я вам, нечто: казалось, он надеется, что сможет еще выпутаться, сев в нужный поезд в нужное время и покотив в нужном направлении, хотя он прекрасно знал, что поезд уже прибыл на конечную станцию и ему осталось только выйти.

Так продолжалось некоторое время, и я уже начал беспокоиться за мадам Розу, потому что видел: она совершенно потеряла голову из-за этого визита, обставленного с такой значительностью, словно ей пришли отдать последние почести.

Я открыл коробку шоколада, которую принесла нам мадам Лола, и угостил мосье Шарметта, но он отказался: какие-то внутренние органы у него не принимают сладкого. Наконец он отправился к себе на третий этаж, и от его визита никакого проку не было, напротив, мадам Роза увидела, что люди относятся к ней все внимательней, а это всегда дурной знак.

Теперь отключки у мадам Розы становились все дольше, и иногда она целыми часами сидела, словно бы вообще ее здесь не было. Я вспомнил про объявление, которое повесил мосье Реза́, сапожник, и где он сообщал, что в случае его отсутствия надо обращаться в другое место, вот только я не знал, к кому обратиться мне, потому что даже в Мекке некоторые подхватывают холеру. Я сидел на табурете рядом с мадам Розой, держал ее за руку и ждал, когда она вернется.

Мадам Лола помогала нам как могла. Она приезжала из Булонского леса совершенно без сил, потому что тратила их все на свою профессию, и, бывало, спала до пяти. А вечером поднималась к нам, чтобы помочь по дому. Время от времени у нас появлялись мальцы на пансион, но недостаточно, чтобы прожить, и мадам Роза говорила, что проституция как профессия гибнет из-за конкуренции тех, кто ею занимается бесплатно. Шлюх, которым не платят, полиция не преследует, она занимается только теми, кто стоит хоть каких-то денег. А еще был случай шантажа, когда один сотинер, который был обыкновенным сводником, грозил выдать ребенка одной шлюхи для помещения в приют с лишением ее родительских прав за проституцию, если она откажется поехать в Дакар, и мы держали мальчонку – у него было дурацкое имя Жюль – у себя десять дней, а потом все уладилось, потому что этим делом занялся мосье Н’Да Амеде. Мадам Лола занималась хозяйством и помогала держать мадам Розу в чистоте. Я не собираюсь забрасывать ее цветами, но никогда в жизни я не видел ни одного сенегальца, кроме мадам Лолы, который мог бы быть лучшей в мире матерью семейства, и страшно жаль, что природа ей в этом отказала. Это чистая несправедливость, особенно если подумать, сколько есть отличных мальцов, которые просто пропадают. Ведь она даже не имеет права кого-нибудь усыновить, потому что транссвиститы слишком отличаются от всех, а такое никогда не прощают. Из-за всего этого мадам Лола иногда бывала в плохом настроении.

Могу вам сказать, что весь дом очень правильно прореагировал на известие, что мадам Роза умрет в надлежащее время, когда все ее органы объединят свои усилия в этом направлении. Жили у нас четыре брата Заумы, грузчики, специалисты по перетаскиванию пианино и шкафов, которые были самые сильные в нашем квартале, и я всегда с восхищением смотрел на них, потому что я тоже хотел, чтобы нас было четверо, то есть чтобы у меня было три брата. Так вот они зашли к нам и сказали, что можно рассчитывать на них, чтобы спускать и поднимать мадам Розу всякий раз, когда она захочет выйти из дома. А в воскресенье, потому что в этот день никто с квартиры на квартиру не переезжает, они снесли мадам Розу вниз, точно пианино, посадили в свою машину и повезли на Марну, чтобы онадохнула свежего воздуха. В тот день она была в полном соображении и даже принялась строить планы на будущее, потому что не хотела, чтобы ее хоронили по религиозному обряду. Я сперва решил, что эта еврейка боится Бога и надеется, что если ее похоронят не по религиозному обряду, то она сможет увильнуть от Него. Оказывается, вовсе нет. Бога она не боялась, а наоборот, сказала, что все уже поздно, что сделано, то сделано, и Он вовсе не обязан приходить и просить у нее прощения. Я так думаю, что мадам Роза, когда с головой у нее бывало все в порядке, просто хотела умереть с концами, а не так, чтобы после этого надо было куда-то еще идти и идти.

А когда мы возвращались, братья Заумы провезли ее вокруг Центрального рынка, по улицам Сен-Дени, Фурси, Блондель, Трюандери, и она была очень растрогана, особенно когда увидела на улице Прованс маленький отель, куда водила клиентов, когда была молодая и могла хоть по сорок раз в день подниматься по лестнице. И она сказала, что была рада увидеть те места, где она зарабатывала на панели, и почувствовала, что не зря прожила жизнь. Она

улыбалась, и я видел, что настроение у нее поднялось. Мадам Роза принялась вспоминать добрые старые времена и заявила, что это был самый счастливый период в ее жизни. Ей исполнилось пятьдесят лет, и у нее еще были постоянные клиенты, но она считала, что в ее возрасте это уже неэстетично, и приняла решение сменить профессию. Мы остановились на улице Фрошо выпить по стаканчику, а мадам Роза съела пирожное. Потом приехали домой, братья Заумы внесли ее на седьмой этаж, точно букет цветов, и она была в таком восторге от этой прогулки, что, казалось, помолодела на несколько месяцев.

У двери сидел Мойше, пришедший проведать нас. Я сказал ему «привет» и оставил с мадам Розой, потому что она была в форме. А сам спустился в кафе встретиться с приятелем, который пообещал мне кожаную куртку, настоящую американскую, фирмовую, а не какое-нибудь фуфло, но его не было. Я немножко побыл с мосье Хамилем, который был в добром здравии. Перед ним стояла пустая чашка после кофе, и он безмятежно улыбался стене напротив него.

– Как дела, мосье Хамиль?

– Здравствуй, малыш Виктор, рад слышать тебя.

– Скоро, мосье Хамиль, изобретут очки для всего, и вы снова будете видеть.

– Будем уповать на Бога.

– Да, мосье Хамиль, однажды появятся отличные очки новой конструкции, и не останется никого, кто не может видеть.

– Будем славить Бога, малыш Виктор, потому что это Он позволил мне дожить до такой старости.

– Мосье Хамиль, меня зовут не Виктор. Мое имя Мохаммед. А Виктор это какой-то другой ваш друг.

Он, похоже, удивился.

– Ну, разумеется, малыш Мохаммед. . . Tawa kkaltou'ala al Hayy elladri la iamout. . . Верую в Живого, который не умирает. . . Так как я тебя назвал, малыш Виктор?

Опять двадцать пять.

– Вы меня назвали Виктором.

– Как я мог! Прости меня.

– Ничего. Что одно имя, что другое, это не имеет никакого значения. Что вы поделявали со вчерашнего дня?

Выглядел он озадаченным. Я видел, что он изо всех сил старается вспомнить, но его дни, после того как он перестал продавать с утра до вечера ковры, были похожи один на другой и все смешались в его голове. Он держал правую руку на небольшой потрепанной Книге, которую написал Виктор Гюго, и Книга, наверно, привыкла к его ладони, как это часто бывает со слепыми, когда им помогают, скажем, перейти улицу.

– Ты спрашиваешь про вчера?

– Вчера или сегодня, какое это имеет значение, мосье Хамиль, это просто так обозначают, что время идет.

– Что тебе сказать, малыш Виктор? Сегодня я весь день был здесь.

Я посмотрел на Книгу, но ничего не сказал, они уже долгие годы не разлучались.

– Когда-нибудь, мосье Хамиль, я тоже напишу настоящую книгу. И там будет все. А что он написал самое лучшее, этот мосье Виктор Гюго?

Мосье Хамиль смотрел куда-то вдаль и улыбался. Он провел рукой по Книге, словно погладил ее. Пальцы у него дрожали.

– Не задавай мне слишком много вопросов, малыш. . .

– Мохаммед.

– Не задавай мне слишком много вопросов, что-то я сегодня устал.

Я взял Книгу, мосье Хамиль почувствовал это и забеспокоился. Я глянул название и возвратил ее мосье Хамилю. Положил на нее его руку.

– Вот она, мосье Хамиль, можете ее потрогать.

Я видел, как его пальцы ощупывают Книгу.

– Ты не такой, как все, малыш Виктор. Я это всегда знал.

– Когда-нибудь, мосье Хамиль, я тоже напишу отверженных. А за вами сейчас есть кому прийти, чтобы отвести вас домой?

– Инш'Аллах. Всегда обязательно кто-то есть, потому что я верю в Бога, малыш Виктор.

Мне стало немножко смешно, потому что есть-то он, конечно, есть, но только почему-то всегда для других.

– Расскажите мне что-нибудь, мосье Хамиль. Расскажите, как вы ездили в Ниццу, когда вам было пятнадцать.

Он помолчал.

– Я? Я ездил в Ниццу?

– Да, когда вы были еще совсем молодой.

– Что-то не помню. Нет, не помню такого.

– Ладно, тогда я вам расскажу. Ницца – это оазис на берегу моря, там есть мимозовые рощи, пальмы, русские и английские принцы, которые устраивают поединки цветов. На улицах там танцуют клоуны, а с неба сыплются конфетти и падают на всех, кто есть. Я тоже поеду в Ниццу, когда стану молодым.

– Как это, когда станешь молодым? Разве ты старый? Сколько тебе лет, малыш? Ведь ты же малыш Мохаммед, да?

– Никто этого не знает, и мой возраст неизвестен. Я не был записан с датой рождения. Мадам Роза говорит, что у меня никогда не будет правильного возраста, потому что я не такой, как другие, и мне всегда суждено оставаться не таким. Вы мадам Розу помните? Она скоро умрет.

Но мосье Хамиль ушел в себя, потому что жизнь такая штука, которая заставляет их жить, забывая о том, что происходит с другими. В доме напротив жила мадам Халауи, и перед закрытием кафе она приходила, забирала мосье Хамиля и укладывала его в постель, потому что у нее тоже никого не было. Даже не могу сказать, знакомы ли они были раньше друг с другом или это просто чтобы не оставаться в одиночестве. Она торговала арахисом с лотка на бульваре Барбеса, как и ее отец, когда он был жив. И я произнес: «Мосье Хамиль, мосье Хамиль!» – просто так, чтобы напомнить ему, что есть кто-то, кто его любит и знает его имя, и что он не один.

Я еще немного посидел с ним, чтобы провести время, то, которое движется медленно-медленно, не французское время. Мосье Хамиль часто говорил мне, что время медленно движется по пустыне со своими караванами верблюдов и не торопится, потому что везет вечность. Это красиво звучит, когда тебе рассказывают о нем, и совсем другое дело, когда ты смотришь в лицо человеку, у которого оно потихоньку ворует день за днем, и, если хотите знать мое мнение, время – это вор, каких еще поискать.

Хозяин кафе – вы его, конечно, уже знаете, это мосье Дрис – подошел посмотреть, как у нас дела. У мосье Хамиля, бывает, возникает нужда отлить, и его нужно проводить в сортир, пока не поздно. Но только не нужно думать, будто мосье Хамиль не может сдержаться и вообще полная развалина. Старики ничуть не хуже других, пусть даже они и слабее. Они все чувствуют не хуже нас с вами, а иногда и страдают от этого куда сильнее, чем мы, потому что не могут защищаться. Дело в том, что природа иногда способна вести себя по-сволочному, она грызет их, поджаривает на медленном огне. А с людьми это еще сволочней,

чем в дикой природе, потому что людей запрещается усыплять, когда природа медленно душит их и у них глаза на лоб лезут. Но это не относится к мосье Хамилю, который может еще очень долго стариться и умереть лет в сто десять, а то и вообще стать чемпионом мира. Он был еще вполне в своем рассудке и говорил «хочу отлить» когда надо, прежде чем это произойдет, и тогда мосье Дрис брал его под локоть и сам отводил в сортир. У арабов к старому человеку, которого скоро не станет, относятся с уважением, и делается это, чтобы добиться благосклонности Бога, а не ради каких-то мелких выгод. Но это все равно грустно, что мосье Хамяля нужно водить, чтобы он отлил, и на этом я их оставил, потому как решил, что нечего заикливаться на грустном.

Я еще на лестнице услышал плач Мойше и галопом взлетел к нам на этаж, решив, что с мадам Розой случилась беда. А когда вошел, то сперва решил, что это неправда. И даже закрыл глаза, чтобы потом шире их открыть.

На мадам Розу прогулка в машине по тем местам, где она работала, произвела потрясающее воздействие, и все прошлое ожило у нее в голове. Она стояла нагишом посреди комнаты, одевалась – как в ту пору, когда она еще работала, чтобы отправиться на панель. Ладно, допустим, я ничего еще в жизни не видел и не имею, может, права судить, что ужасно, а что нет, но, клянусь вам, голая мадам Роза в кожаных сапогах и черных трусах с кружавчиками вокруг шеи, потому как она перепутала, что куда надо, с совершенно невообразимой величины буферами, свисающими на брюхо, нет, клянусь вам, это еще та картина, и такую не знаю даже, где еще можно увидеть. А кроме всего, мадам Роза пыталась вилять задом, как в секс-шопе, да только жопища ее превосходила все возможности человеческого воображения... siyyid! Думаю, я впервые прошептал молитву, ну, ту, что относительно mahboul, но мадам Роза с игривой улыбкой продолжала вихляться, а уж волосня у нее... никому не желаю такое увидеть.

Я понимал, что это результат потрясения, после того как она повидала места, где была счастлива, но иногда от того, что ты понимаешь, тебе ничуть не легче, даже наоборот. А наштукатурена она была так, что казалась еще голее, чем на самом деле, и как-то совсем тошнотно складывала губки бантиком. Мойше вжался в угол и ревел во весь голос, а я лишь пробормотал: «Мадам Роза, мадам Роза», – выскочил из комнаты, скатился по лестнице и кинулся бежать по улице. Не для того, чтобы спастись, вовсе нет, просто я не мог там оставаться.

Я довольно долго бежал, а когда мне чуть полегчало, сел в темной арке ворот за мусорными баками, ожидавшими, когда их увезут. Я даже не плакал, что толку. Я закрыл глаза, уткнулся лицом в колени, до того мне было стыдно, чуток подождал, а потом вызвал легавого. То был самый сильный легавый, какого только можно представить. Он был в миллион раз накачанной, чем все другие, а уж оружия у него было еще больше, чтобы обеспечить безопасность. В его распоряжении были даже танки, и с ним я мог ничего не бояться и быть спокойным насчет своей самозащиты. Я чувствовал, что могу не бояться, он взял на себя ответственность. Он отечески обнял меня могучей рукой за плечи и спросил, не ранен ли я после того града ударов, что я получил. Я ответил, есть немножко, но в больницу обращаться не стоит. Он долго не снимал руку с моего плеча, и я почувствовал, что он позаботится обо всем и будет для меня как отец. Мне стало полегче, и я начал понимать, что лучше всего для меня было бы уехать жить туда, где все не так. Мосье Хамиль, когда он был еще в полном соображении, мне часто говорил, что именно поэты постигают иной мир, и я вдруг улыбнулся, вспомнив, что он назвал меня Виктором; может, это Бог дает мне знак. А потом я увидел надувных бело-розовых птиц с веревочками, чтобы можно было улететь на них далеко-далеко, и заснул.

Кимарил я недолго и, проснувшись, отправился в кафе на углу улицы Биссон, где было черным-черно, потому что рядом находятся три негритянские общаги. В Африке все совсем по-другому, у них там есть племена, и если вы принадлежите к какому-нибудь племени, то это все равно что вы являетесь членом общины, одной большой семьи. В кафе был мосье Абуа, я вам о нем еще ничего не говорил, потому как не могу обо всем сразу, но вот теперь расскажу; он даже не знает по-французски, и надо, чтобы рядом с ним всегда кто-нибудь был, чтобы он врубался, о чем идет речь. Я какое-то время пробыл с мосье Абуа, который к нам приехал из Кот д'Ивуар. Мы взялись за руки, и оба здорово веселились: мне было десять лет, ему двадцать, и эта разница забавляла и его, и меня. Хозяин кафе, мосье Сокó, сказал мне,

чтоб я тут долго не отирался, потому что не хотел иметь неприятностей со службой защиты несовершеннолетних; когда в твоём заведении вертится десятилетний мальчишка, запросто могут прицепиться и начать клеить наркоту: ведь когда видят мальчика, первым делом думают о наркоте. Во Франции вообще очень защищают несовершеннолетних и, если никто ими не занимается, сажают в тюрьму.

У мосье Соко тоже есть дети, но он их оставил в Кот д'Ивуар, потому что там у него жен больше, чем здесь. Я знал, что не имею права находиться в месте общественного распития без сопровождения родителей, но, признаюсь вам откровенно, у меня не было никакого желания возвращаться домой. Стоило мне вспомнить, в каком состоянии я оставил мадам Розу, и у меня мурашки ползли по спине. И без того было страшно смотреть, как она потихоньку умирает, не понимая того, но видеть ее голую, с похабальной улыбкой, при всех ее девяноста пяти килограммах, ожидающих клиента, и задницей совершенно уже нечеловеческих размеров, – это было что-то совершенно беспредельное, требующее законов, чтобы положить конец ее страданиям. Знаете, все только и толкуют про защиту законов природы, но я, скорей, за запасные части. Но как бы там ни было, всю жизнь в бистро не проведешь, и я отправился домой и, пока поднимался по лестнице, мысленно успокаивал себе, что, может, мадам Роза уже умерла и избавилась от страданий.

Дверь я открывал медленно-медленно, чтобы с ходу не перепугаться, и первое, что увидел, – мадам Роза, полностью одетая, стоит посреди комнаты, а рядом с ней небольшой чемодан. Выглядела она так, словно ждет на перроне в метро поезда. Я тут же бросил взгляд на ее лицо и понял: она опять не в себе. Вид у нее был совершенно отсутствующий, до того она была счастлива. Глядела она куда-то в немыслимую даль, а на голове у нее была шляпка, которая не больно-то шла ей, потому как нынче ей ничего бы не пошло, но зато она хоть прикрывала голову. Надела она синее платье в цветочек, а в руке держала сумочку, с которой ходила на панель; она вытащила ее из завалов в шкафу, где хранила из сентиментальных побуждений, и я знал, что в ней все еще лежат гондоны. Я бы сказал, она смотрела сквозь стену, словно вот-вот должна сесть в поезд, который навсегда увезет ее.

– Мадам Роза, что вы делаете?

– Они сейчас приедут за мной. Они обо всем позаботятся. Они велели ждать тут: сейчас подъедут грузовики и нас вместе с самыми необходимыми вещами отвезут на велодром.

– Кто – они?

– Французская полиция.

Я совершенно не врубался. Мойше из другой комнаты делал мне знаки, крутя пальцем у виска. Мадам Роза не выпускала из рук старую сумочку, а рядом стоял чемодан, точно она боялась опоздать.

– Они дали нам полчаса на сборы и велели взять всего один чемодан. Нас посадят на поезд и отвезут в Германию. Они позаботятся обо всем, так что у меня не будет никаких проблем. Они сказали, что нам не причинят зла, обеспечат жильем, питанием, чистым бельем.

Я даже не знал, что сказать. Вполне возможно, евреев опять увозят в Германию, потому что арабы против них. Мадам Роза, когда была в полном соображении, часто рассказывала, как мосье Гитлер устроил в Германии Израиль для евреев и сделал им там общагу и как их там принимали в эту общагу, всех кроме их зубов, костей, а также одежды и обуви в хорошем состоянии – все это у них отобрали, чтобы не изнашивались. Но я никак не мог взять в толк, почему опять одни немцы должны заботиться об евреях и снова строить для них общаги; все должны делать это поочередно, другие народы тоже обязаны приносить жертвы. Мадам Роза очень любила вспоминать, как она была молодая. Короче, все это я знал, потому что жил у еврейки, а когда живешь с евреями, хочешь не хочешь, а все равно это узнаешь, но

я все равно не понимал, на кой французской полиции заниматься мадам Розой, которая уже старая, страшная и не представляет интереса ни в каком отношении. Я также знал, что мадам Роза впала в детство, потому как у нее шарики за ролики закатились по причине старческого слабоумия; об этом меня предупредил доктор Кац. Наверно, она решила, что опять стала молодой, и вот оделась как шлюха и стояла со своим чемоданчиком, жутко счастливая, оттого что ей снова двадцать лет, и ждала звонка, чтобы вернуться на велодром, а оттуда в еврейскую общагу в Германии.

Я не знал, что делать; спорить с ней я не хотел, но был уверен, что французская полиция не придет, чтобы вернуть мадам Розе ее двадцать лет. Я опустил на пол в углу и сидел не поднимая головы, чтобы не видеть ее, – больше я ничего не мог для нее сделать. К счастью, ей получшало, и она сама была удивлена, обнаружив, что стоит с чемоданом, в шляпке, синем платье в цветочек и держит в руках сумочку, полную воспоминаний, но я подумал, лучше ей не рассказывать, что произошло, потому как видел: она ничего не помнит. Это называется амнистия, и доктор Кац предупреждал, что она будет случаться все чаще и чаще до того дня, когда мадам Роза ничего уже не будет способна вспомнить, хотя проживет еще, может быть, долгие годы в таком состоянии.

– Момо, что случилось? Почему я стою тут с чемоданом, как будто собралась уезжать?

– Вам что-то приснилось, мадам Роза. Но сны не принесли вреда еще ни одному человеку.

Она с подозрением глянула на меня:

– Момо, ты должен сказать мне всю правду.

– Мадам Роза, клянусь вам, что я говорю правду. Рака у вас нет. Доктор Кац категорически в этом уверен. Так что вы можете быть спокойны.

Похоже, она немножко воспряла духом: все-таки радостно знать, что у тебя нет рака.

– Но как получилось, что я не знаю, почему и зачем я здесь стою? Что со мной, Момо?

Она села на кровать и расплакалась. Я встал, подошел к ней, сел рядом и взял ее за руку; она любила это. Мадам Роза тут же улыбнулась и пригладила мне волосы, чтобы я выглядел красивей.

– Мадам Роза, это всего лишь жизнь, и с этим можно дожить до глубокой старости. Доктор Кац сказал мне, что у вас все как у человека ваших лет, и он даже назвал, каких лет.

– Преклонных, да?

– Да.

Она на секунду задумалась.

– Ничего не понимаю. Климакс у меня давно уже прошел. Я даже немножко работала во время климакса. Момо, у меня нет опухоли в мозгу? Ведь если она злокачественная, то тоже неизлечима.

– Он не говорил мне, что это неизлечимо. Он вообще ничего не говорил ни про излечимые, ни про неизлечимые. Он вообще не упоминал про лечение. Он говорил только про ваши лета и ни слова не сказал ни про амнистию, ни про что другое.

– Ты хочешь сказать, амнезию?

Мойше не нашел ничего лучше, как зареветь, и мне только этого и не хватало.

– Мойше, в чем дело? Вы врете! Вы что-то скрываете от меня! Почему он плачет?

– Ой, дерьмо, дерьмо, дерьмо! Мадам Роза, но ведь евреи всегда плачут, когда собираются вместе. Они даже специальную стену построили для этого. Ой, дерьмо!

– А может, это мозговой склероз?

Клянусь вам, я всем этим сыт был до самой задницы. Мне это до того охренело, что я готов был бежать к Дылде и засадить себе укол самой стопроцентной дури, чтобы сказать им всем: а пошли вы!



– Момо, у меня нет мозгового склероза? Он ведь тоже неизлечим.

– Мадам Роза, а вы много знаете болезней, которые излечимы? Ну достали вы меня, достали! Мне от вас всех блевать хочется на могилу своей матери.

– Не смей так говорить! Твоя бедная мама, она... может быть, она даже жива.

– Нет, я ничего такого не думал, мадам Роза. Даже если она жива, она все равно моя мать.

Она как-то странно глянула на меня, а потом улыбнулась:

– Ты здорово повзрослел, Момо. Ты уже не ребенок. Когда-нибудь...

Что-то она хотела мне сказать, но раздумала.

– Что – когда-нибудь?

Она с виноватым видом смотрела на меня:

– Когда-нибудь тебе исполнится четырнадцать лет. А потом будет пятнадцать. И ты больше не захочешь быть со мной.

– Не говорите глупостей, мадам Роза. Я никогда вас не брошу, не такой я человек.

Это ее чуток успокоило, и она пошла переодеться. Надела японское кимоно и надушилась за ушами. Не понимаю, почему она всегда душится за ушами, может, потому что там незаметно. После этого я помог ей сесть в кресло: ей трудно наклоняться и сгибаться. При всех ее болезнях чувствовала она себя прилично. Выглядела печальной и обеспокоенной, и я скорее был рад видеть, что она в своем нормальном состоянии. Она даже немножко всплакнула, и это означало, что все у нее в порядке.

– Ты уже большой мальчик, Момо. И это значит, что ты понимаешь, что к чему.

Вот уж что нет, так нет, я вовсе не понимал, что к чему, но не спорить же мне с ней, время для этого было не самое подходящее.

– Да, ты уже совсем большой, так что послушай меня...

Но тут она малость заехала в тупик и на несколько секунд отключилась, точно старая колымага, у которой заглох мотор. Я ждал, когда у нее внутри снова включится, держа ее за руку, потому что при всем при том она все-таки не старая колымага. Я три раза ходил к доктору Кацу, и как-то он рассказал, что был такой американец, который семнадцать лет ни фига не соображал и не чувствовал, лежал в больнице, где ему продлевали эту растительную жизнь средствами медицины, и что это мировой рекорд. В Америке, куда ни плюнь, сплошные чемпионы мира. И еще доктор Кац сказал, что сделать для мадам Розы ничего невозможно, но при хорошем уходе в больнице она сможет протянуть в таком состоянии еще долгие годы.

Самое неприятное, что у мадам Розы не имелось никакой социальной страховки, потому что она затихарилась и жила подпольно. После того как она попала в облаву французской полиции, когда была еще молодая и вполне пригодная, как я уже имел честь, она не желала нигде регистрироваться. Хотя я знал в Бельвиле кучу евреев, у которых были удостоверения личности и всякие другие бумаги, выдававшие их с головой, но мадам Роза не хотела рисковать, не хотела, чтобы про нее все было официально записано в документах, подтверждающих, кто она на самом деле, потому как если про вас все известно, то всегда найдется к чему придраться. Мадам Роза совсем не была патриоткой, и ей было наплевать, кто араб, кто североафриканец, а кто малиец или еврей, потому что у нее отсутствовали принципы. Она часто мне говорила, что у каждого народа есть что-то хорошее, и для этого существуют особые люди, которые называются историками и которые специально занимаются изучением и всякими там исследованиями. Мадам Роза нигде не была зарегистрирована и жила по фальшивым документам, чтобы иметь возможность доказать, что она – это не она. И потому никогда не делала взносов на социальное страхование.

Но доктор Кац убедительно заверял меня, что, если в больницу привезут еще живое тело, но уже не способное что-либо сказать, его ни за что не выбросят на улицу, а иначе до чего мы так дойдем.

Я думал обо всем этом, глядя на мадам Розу, пока в голове у нее было затемнение. Это называется прогрессивным старческим слабоумием; сперва бывают затемнения и просветы, а потом капец, чердак отключается. По-простому это называется маразмом, а происходит от медицинского слова маразматик. Я гладил ей руку, чтобы она поскорее пришла в себя, и никогда я еще так сильно не любил ее, потому что она была старая и страховодная, а скоро вообще перестанет быть человеком.

Я не представлял, что делать. Денег у нас не было, а возраст у меня был такой, что я не мог избежать закона против малолетних. Выглядел я старше, чем на десять лет, я это знал и знал, что нравлюсь шлюхам, у которых никого нет, но полиция жутко не терпит сотинеров, а еще я боялся югославов, которые просто безжалостны к конкурентам.

Мойше попытался поднять мне настроение, рассказывая, что усыновившая его еврейская семья ему нравится и что я тоже мог бы подсуетиться, чтобы найти себе что-нибудь подходящее. Он ушел, пообещав приходить каждый день, чтобы помогать мне. Мадам Розе приходилось подтирать зад, потому что сама она уже не могла справиться. Даже когда голова у нее была светлая, у нее с этим были трудности. При ее заднице она не могла дотянуться рукой куда нужно. Оттого что мне приходится ей подтирать зад, она страшно стеснялась по причине своих женских частей, но тут уж ничего не поделаешь. Мойше, как и обещал, пришел, и вот тут-то и произошла национальная катастрофа, жертвой которой имел честь быть я и из-за которой я во мгновение ока стал куда старше.

Как раз на другой день старший из братьев Заумов принес нам кило муки, масла и мясного фарша для котлет; вообще очень много людей показали себя с самой лучшей стороны, когда здоровье мадам Розы стало никудышным. Я отметил этот день белым камешком, потому что это было очень приятным проявлением.

Мадам Роза чувствовала себя сносно и с головой, и ниже. Временами полностью захлопывалась, временами оставалась открытой. Как-нибудь я приду поблагодарить всех жильцов, что помогали нам, например мосье Валумбу, который глотал огонь на бульваре Сен-Мишель, чтобы поразить прохожих, и который поднимался к нам показать свой замечательный номер мадам Розе в надежде возбудить ее внимание.

Мосье Валумба, он – негр из Камеруна, приехавший во Францию, чтобы подметать ее. Всех своих жен и детей он по экономическим причинам оставил на родине. У него был просто олимпийский талант по части глотания огня, и все свободное время он посвящал этому делу. Полиция цеплялась к нему, потому что вокруг него собиралась толпа, но у него было разрешение глотать огонь, к которому не придерешься. Когда я видел, что мадам Роза сидит с открытым ртом и взгляд у нее пустой, то есть она опять находится где-то там, я мигом бежал к мосье Валумбе, который делил законно снятую им комнату на шестом этаже еще с восемью неграми из своего племени. Если он был дома, то сразу же поднимался к нам вместе с горящим факелом и принимался изрыгать огонь перед мадам Розой. Делал он это не только для того, чтобы развлечь больную женщину, и к тому же пребывающую в глубоком унынии, а чтобы подвергнуть ее лечебному шоку, потому как доктор Кац рассказывал, что в больнице такое лечение многим помогло и там с этой целью им неожиданно зажигали электричество. Мосье Валумба тоже был согласен с ним и говорил, что старым людям часто возвращается память, если их сильно напугать, а в Африке так вылечили даже одного глухонемого. Но старики еще глубже впадают в уныние, когда их навсегда помещают в больницу, и доктор Кац говорил, что от возраста спасения нет и после шестидесяти пяти семьдесят лет человеку или сколько – уже без разницы.

Мы по несколько часов пытались как следует напугать мадам Розу, чтобы у нее началось кровообращение. На мосье Валумбу было страшно смотреть, когда он глотал огонь, который потом языками пламени вырывался у него изо рта к потолку, но мадам Роза находилась в бессмысленном состоянии, которое называется летаргией, когда на все плевать, и не было никакой возможности потрясти ее. Мосье Валумба выблевывал перед ней огонь, наверно, полчаса, однако она сидела с круглыми, неподвижными глазами, словно была статуей, которые делают из камня или дерева и которые ничем не тронуть. Он попробовал еще раз, и очень старался, и, наверно, поэтому мадам Роза вдруг вышла из этого своего состояния, и когда она увидела перед собой полуголого негра, плюющего огнем, то так дико заорала, что вы и представить себе не можете. Она даже попыталась убежать, так что пришлось ее удерживать. Ну, а потом не желала слушать никаких объяснений и напроць запретила плевать в ее присутствии огнем. Она ж не знала, что была в маразме, и думала, будто просто вздремнула, а мы ее разбудили. Не скажешь же ей всю правду.

А в другой раз мосье Валумба привел с собой пятерых своих приятелей, они все были его соплеменниками и должны были плясать вокруг мадам Розы, чтобы прогнать злых духов, которые при каждом удобном случае вселяются в некоторых людей. Братья мосье Валумбы были очень известны в нашем квартале, и, если был больной, которого можно лечить дома, их звали, чтобы они совершили эту церемонию. Хозяин кафе мосье Дрис называл это обрядами, презирал их и издевался над мосье Валумбой, говоря, что он и его братья занимаются медициной «по-черному».

И в один из вечеров, когда мадам Роза сидела с неподвижными глазами в отключке, мосье Валумба пришел к нам вместе со своими братьями. Они были голые до пояса и разрисованы разными красками, а уж лица у них были раскрашены просто ужас – для того чтобы нагнать страху на демонов, которых африканские рабочие навезли с собой во Францию. Двое братьев мосье Валумбы уселись на полу вместе со своими барабанами, по которым они стучали руками, а трое принялись плясать вокруг сидящей в кресле мадам Розы. Сам мосье Валумба играл на музыкальном инструменте, сделанном специально для этой цели, и в ту ночь ничего интересней в Бельвиле просто не могло быть. Правда, ничего у них не получилось, потому что на евреев это не действует, и мосье Валумба объяснил, что вопрос тут в религии. Он считал, что религия мадам Розы противится и мешает ее исцелению. Меня это здорово удивило, потому что мадам Роза находилась в таком состоянии, что непонятно было, где религия могла за нее уцепиться.

А если хотите знать мое мнение, с определенного момента даже евреи перестают быть евреями, до такой степени они уже никто. Не знаю, понятно ли я говорю, да это и не имеет значения, потому что, если все понимаешь, от этого только гнусней становится.

Через некоторое время братья мосье Валумбы начали отчаиваться, потому что мадам Роза как сидела, так и сидела, словно чихала на все, и мосье Валумба объяснил мне, что злые духи перекрыли все входы и все старания его соплеменников не доходят до нее. Они все уселись на полу вокруг мадам Розы и малость передохнули; в Африке их куда больше, чем в Бельвиле, и они группами могут сменять друг друга вокруг злых духов, как на конвейере Рено. Мосье Валумба сходил за выпивкой и яйцами вкрутую, и мы слегка перекусили рядом с мадам Розой в кресле, а взгляд у нее был такой, точно она потеряла его и теперь не знает, где искать.

И пока мы закусывали, мосье Валумба объяснял, что у него на родине легче уважать стариков и заботиться о них, чем в таком большом городе, как Париж, где тысячи улиц, многоэтажных домов, всяких берлог и каморок, где старых людей забывают, а использовать армию, чтобы разыскивать, где они укрываются, невозможно, потому что армия занимается молодыми. А если она все свое время будет тратить на заботу о стариках, то это уже будет не французская армия. Он мне сказал, что стариковских берлог в городах и деревнях, можно сказать, десятки и тысячи, да только никто не может дать сведений, где их искать, такое вот существует страшное невежество. На старика или там старуху в такой большой и прекрасной стране, как Франция, никто и внимания-то не обращает, у людей и без того полно своих заморочек. Старики и старухи ни на что уже не годны, пользы для общества не представляют, вот они и живут как живут. В Африке же в племенах стариков собирают вместе, и вообще они там пользуются огромным почтением по причине того вреда, что они способны наделать, когда уже станут мертвыми. А во Франции из-за эгоизма племен нет. Мосье Валумба сказал, что во Франции отменили племенной строй, и вот поэтому возникают вооруженные банды, в которые сбиваются ребята и пытаются что-то сделать. Мосье Валумба сказал, что молодым необходимы племена, потому что, если их нет, человек чувствует себя, словно он капля в море, а от этого можно свихнуться. И еще мосье Валумба сказал, что все вокруг становится таким большим, что если вас меньше тысячи, то вас и во внимание не стоит принимать. Вот поэтому бедные старики и старухи, не способные организовывать вооруженные банды, чтобы нормально существовать, исчезают, не оставив адреса, и живут в своих грязных норах. Никто и не знает, что они там живут, особенно если это комната для прислуги на последнем этаже без лифта, а криком дать знать, что они тут, старики не могут, потому что у них нет сил. Мосье Валумба сказал, что надо бы привезти побольше иностранной рабочей силы из Африки, чтобы каждое утро в шесть отыскивать стариков и выносить тех, которые уже плохо

пахнут, потому что никто не ходит проверять, жив еще старый человек или нет, и, только когда жильцы начинают жаловаться консьержке, что на лестнице жуткая вонь, все становится ясно.

Вообще мосье Валумба говорит очень здорово, словно он вождь племени. Все лицо у него в шрамах, они означают, что он важный человек в своей племени, к нему нужно относиться с уважением и прислушиваться к его словам. Он по-прежнему живет в Бельвиле, и как-нибудь я схожу повидаться с ним.

Он показал мне одну штуку, очень полезную для мадам Розы, с помощью которой можно отличить еще живого человека от окончательно умершего. Он встал, взял с комода зеркало и приложил к губам мадам Розы; там, где она на него дышала, зеркало затуманилось. Без этого нельзя понять, дышит она или нет, потому что вес у нее большой, а легкие слишком слабые, чтобы поднимать столько жира. Короче, этот фокус позволяет отличать живых от прочих. Мосье Валумба сказал: это первое, что нужно проделывать с лицами преклонного возраста, проживающими в комнатах для прислуги на верхних этажах без лифта, чтобы понять – в отключке они из-за старческого маразма или же стопроцентно откинули коньки. Если зеркало затуманилось, значит, они еще дышат и выносить их вперед ногами еще рано.

Я спросил у мосье Валумбы, а нельзя ли перевезти мадам Розу в Африку, в его племя, чтобы она пользовалась там вместе с другими стариками теми преимуществами, которые они там имеют. У мосье Валумбы очень белые зубы, и он долго хохотал, и его соплеменники, тоже мусорщики, смеялись вместе с ним, а потом они поговорили на своем языке и растолковали мне, что в жизни все не так просто: нужны билеты на самолет, деньги, всякие там разрешения, так что заботиться о мадам Розе придется мне, пока не последует ее смерть. И тут я заметил по лицу мадам Розы, что к ней возвращается соображение; братья мосье Валумбы мигом вскочили и принялись плясать вокруг нее, колотя в барабаны и распевая голосами, способными пробудить мертвых, что запрещается после десяти вечера по требованиям общественного порядка и сна праведных, но в нашем доме не так уж много французов, и к тому же они не такие раздражительные, как в других кварталах. Мосье Валумба тоже схватил свой инструмент, который я не способен описать, до того он особенный, и мы с Мойше тоже вскочили и тоже стали скакать вокруг мадам Розы и орать, чтобы изгнать из нее злых духов, потому как она вроде подавала признаки и надо было ее поддержать. В общем, демонов мы обратили в бегство, и к мадам Розе вернулся рассудок, но когда она увидела, что окружена полуголыми неграми с зелеными, белыми, синими и желтыми рожами, да к тому же завывающими, как индейцы, а мосье Валумба играет на своем замечательном инструменте, она так перепугалась, что принялась звать на помощь, выкрикивала мое имя, попыталась убежать и успокоилась, только когда узнала меня и Мойше, но тут же стала ругать нас выблядками и жопниками, что доказывало: она пришла в полную норму. Мы все стали поздравлять друг друга, особенно мосье Валумбу. Из приличия они еще немножко побыли у нас, и мадам Роза убедилась, что они пришли сюда не для того, чтобы избить старушку и вырвать у нее сумочку с деньгами. В голове у нее еще не все уложилось как надо, и она поблагодарила мосье Валумбу на еврейском, который у них называется идиш, но это было неважно, потому что мосье Валумба классный малый и все понимает.

А когда они ушли, мы с Мойше раздели мадам Розу и с ног до головы обмыли ее жавелевой водой, потому что она обделалась, пока была в отключке. Потом напудрили ей зад детским тальком и снова усадили в кресло, в котором она любила сидеть. Она попросила зеркало и навела марафет. Она знала, что временами отключается, но пыталась относиться к этому по-еврейски, с юмором, сказав, что у этого есть своя хорошая сторона: когда она в отключке, у нее никаких забот. Мойше сбегал купить на наши последние деньги жратвы, и мадам Роза

приготовила ее, ничего ни разу не спутав, так что трудно было даже поверить, что еще два часа назад она была в отрубе и ни фиги не соображала. По-медицински, говорил доктор Кац, это называется временная ремиссия. Потом она пошла и села в кресло, потому что ей тяжело делать всякие усилия. Мойше она погнала в кухню мыть посуду и какое-то время сидела, обмахиваясь японским веером. На ней было ее любимое кимоно. Она сидела и о чем-то думала.

– Момо, подойди ко мне.

– Что такое? Вы не собираетесь отчалить?

– Нет. Надеюсь, нет. Но если так будет продолжаться, они меня положат в больницу. Я не хочу туда. Мне шестьдесят семь лет. . .

– Шестьдесят девять.

– Ладно, шестьдесят восемь, и я не такая старая, как выгляжу. Послушай меня, Момо. Я не хочу в больницу. Они там будут подвергать меня пыткам.

– Мадам Роза, не говорите глупостей. Франция никогда никого не пытала, здесь все-таки не Алжир.

– Момо, они будут насильно удерживать меня при жизни. Этим они и занимаются в больницах, на это у них есть специальные законы. Я не хочу жить дольше, чем необходимо, мне этого не нужно. Существует предел даже для евреев. Они будут истязать меня, чтобы только не дать умереть, у них имеется такая штука, которая называется врачебный регламент, и придумана она специально для таких случаев. Они заставляют человека мучиться до конца и не дают ему права умереть, потому что это дозволяется только привилегированным. У меня был друг, даже не еврей, но у него не было ни рук ни ног, он потерял их в результате несчастного случая, так они заставили его страдать в больнице целых десять лет, чтобы изучать его кровообращение. Момо, я не желаю жить только потому, что этого требует медицина. Я знаю, что в голове у меня бывают затемнения, и не хочу жить долгие годы в коме, чтобы порадовать медицину. Так что, если ты услышишь разговоры, дескать, меня надо положить в больницу, попроси своих дружков сделать мне укол, а потом отвезти мои останки за город и там их бросить. Где-нибудь в кустах. Десять дней после войны я прожила за городом, и нигде мне так легко не дышалось. Моей астме там лучше, чем в городе. Тридцать пять лет моя шахна служила клиентам, и теперь я не отдам ее докторам. Обещаешь?

– Обещаю, мадам Роза.

– *Херем?*

– *Херем.*

У них это значит «клянусь», что я и имел честь.

Да я пообещал бы мадам Розе что угодно, только бы она была счастлива, потому что, каким бы старым человек ни был, ему все равно хочется чувствовать себя счастливым, но тут позвонили в дверь и произошла та самая национальная катастрофа, о которой я еще не успел рассказать и которая доставила мне огромную радость, потому что позволила мне в один миг стать старше на несколько лет, не говоря уже обо всем прочем.

В дверь, значит, позвонили, я пошел открыть, а там стоит какой-то мозгляк жутко унылого вида, с длинным крючковатым носом, и глаза у него какие-то не такие и еще к тому же испуганные. Он был бледный и весь в поту, дышал часто, а руку прижимал к сердцу, но вовсе не по причине чувств, а потому что подъем на седьмой этаж очень сильно влияет на сердце. Воротник пальто у него был поднят, волос на голове кот наплакал, что характерно для лысых. Шляпу он держал в руке, словно желая показать, что она у него имеется. Я тогда еще не знал, откуда он вышел, но точно скажу: я никогда еще не видел такого неуверенного в себе мужика. Он растерянно и со страхом пялился на меня, и я ему ответил той же монетой, потому как можете мне поверить: достаточно было только глянуть на этого хмыря, чтобы усечь, в каком он был состоянии, а был он в состоянии страшной паники.

– Мадам Роза здесь живет?

В таких случаях всегда нужно быть осторожным, потому что незнакомые люди взбираются на седьмой этаж не для того, чтобы доставить вам удовольствие.

Я прикинулся дурачком, что вполне простительно для моего возраста.

– Кто?

– Мадам Роза.

Я задумался. В таких случаях всегда важно выиграть время.

– Это не я.

Он вздохнул, вытащил из кармана носовой платок, вытер лоб, а потом положил платок в карман и опять вздохнул.

– Я болен, – сообщил он. – Я вышел из больницы, где находился одиннадцать лет. Я поднялся на седьмой этаж вопреки запрещению врача. Я пришел сюда, чтобы увидеть перед смертью своего сына, я имею на это полное право, и любой закон разрешает это, даже среди дикарей. Я хочу всего-навсего посидеть минутку, отдышаться, увидеть моего сына, больше мне ничего не нужно. Я сюда пришел? Одиннадцать лет назад я доверил своего сына мадам Розе, и у меня даже есть расписка.

Он покопался в кармане пальто и протянул мне до невозможности засаленный листок бумаги. Спасибо мосье Хамилю, которому я всем обязан, я смог прочесть, что там написано. Не будь его, фиг бы я что прочитал. «Получено от мосье Кадира Юсефа пятьсот франков в качестве аванса за малолетнего Мохаммеда мусульманского вероисповедания седьмого октября 1956 года». Меня как по голове оглоушило, но я быстренько подсчитал: сейчас семидесятый год, так что получается четырнадцать лет, а значит, это не я. Мохаммедов у мадам Розы, наверно, перебивала куча, чего-чего, а этого добра в Бельвиле хоть задом ешь.

– Погодите, я посмотрю.

Я пошел к мадам Розе и сказал ей, что за дверью стоит хмырь с гнусной рожей, который хочет знать, нет ли тут его сына, ну и она, ясное дело, жутко сдрейфила.

– Господи, Момо, но здесь только ты и Мойше.

– Значит, это Мойше, – ответил я ей, потому что это мог быть или он, или я, и это была с моей стороны законная защита.

Мойше как раз дрых в другой комнате. Дрыхнуть он любит больше, чем любой другой соня из всех, кого я знаю.

– Может, он собирается шантажировать мамашу, – протянула мадам Роза. – Ладно, поглядим. Уж котов-то я не боюсь. Он ничего не сможет доказать. Мои фальшивые документы в полном порядке. Впусти его. В случае чего, если он разоидется, сбегашь за мосье Н'Да.

Я впустил этого хмыря. Три волосинки, которые еще остались у мадам Розы, она накрутила на бигуди, и наштукатурена она была в полном порядке, а одета в красное кимоно, и, когда

этот хмырь увидел ее, он тут же присел на кончик стула, и колени у него дрожали. Я видел, что мадам Роза тоже дрожит, но у нее это было не так заметно, потому что она была толстая и у дрожи не хватало силы всколыхнуть все ее жиры. Но если не обращать внимание на все остальное, глаза у нее были потрясающе красивого карего цвета. Значит, хмырь этот шляпу держал на коленях и сидел на краешке стула напротив мадам Розы, которая восседала в своем кресле, а я постарался встать спиной к окну, чтоб он не больно мог меня разглядеть, – на всякий случай. Я совсем не был похож на этого хмыря, но у меня есть одно железное правило в жизни: никогда нельзя рисковать. Тем более что он повернулся ко мне и изо всех сил пялился на меня, как будто потерял свой нос и теперь искал его на мне. Все молчали, никто не хотел начинать первым, до того все были перепуганы. Я даже сходил поднял Мойше, потому как у этого хмыря имелась расписка по полной и законной форме и надо было представить все, что мы имеем.

– Итак, что вам угодно?

– Мадам, одиннадцать лет назад я доверил вам своего сына, – начал он, и должен сказать, говорил он с трудом, все еще никак не мог отдышаться. – Я не имел возможности раньше подать вам признаков жизни, поскольку находился в закрытой больнице. У меня не было даже вашей фамилии и адреса, у меня все отняли, когда туда заперли. Ваша расписка находилась у брата моей несчастной жены, которая, как вам, несомненно, известно, трагически погибла. Сегодня утром меня выпустили, я взял расписку и явился сюда. Меня зовут Кадир Юсеф, и я пришел увидеть своего сына Мохаммеда. Я хочу приветствовать его.

В тот день с головой у мадам Розы было в полном порядке, и это нас спасло.

Я увидел, что она побледнела, но для этого нужно было знать ее, потому как незнакомый человек при всей ее штукатурке увидел бы только красное да синее. Она надела очки, а ей они здорово шли, и глянула на расписку.

– И что вы хотите сказать?

Хмырь этот расплакался.

– Мадам, я болен.

– Ну, а кто не болен, кто нынче здоров, – набожно произнесла мадам Роза и даже возвела глаза к небу, словно желая возблагодарить его.

– Мадам, мое имя Кадир Юсеф, а санитары звали меня Юю. Я одиннадцать лет находился в психушке после той трагедии, что была в газетах, за которую я не несу никакой ответственности.

И тут вдруг я припомнил, что мадам Роза все время интересовалась у доктора Каца, не психический ли я. Одним словом, не унаследовал ли я. Хотя мне накласть, это ведь не я. Мне не четырнадцать, а десять. Так что пошло оно все.

– И как, говорите вы, звали вашего сына?

– Мохаммед.

Мадам Роза смотрела на него так пристально, что я даже еще больше забезал.

– А имя его матери вы не припомните?

И тут я подумал, что этот хмырь сейчас откинёт копыта. Он позеленел, челюсть у него отвалилась, колени ходили ходуном, а на глазах выступили слезы.

– Мадам, вы же прекрасно знаете, что я был невменяемым. Это было признано и медицински удостоверено. Даже если моя рука и совершила это, я тут ни при чем. Сифилиса у меня не обнаружили, хотя санитары говорили, что все арабы – сифилитики. Я это сделал в момент умопомрачения, упокой Боже ее душу. Я стал очень набожным. Каждый час молюсь за ее душу. При той профессии, которая была у нее, ей это необходимо. Я действовал в припадке ревности. Вы только представьте, она пропускала до двадцати мужчин в день. В конце концов



я стал ее ревновать и убил, да, не отрицаю. Но я был невменяем. Это признали самые лучшие французские врачи. Я ведь после этого даже ничего не помнил. Я безумно ее любил. И не мог жить без нее.

Мадам Роза ухмыльнулась. Никогда раньше я не видел, чтобы она так ухмылялась. Это было. . . Нет, я даже не могу сказать вам, как это было. У меня даже в заднице похолодело.

– Само собой, мосье Кадир, вы не могли жить без нее. В течение нескольких лет Айша приносила вам по сто тысяч старых франков в день. Вы пришили ее, потому что хотели, чтобы она приносила больше.

Хмырь тихо вскрикнул и расплакался. Впервые я увидел плачущего араба, ну, если не считать меня самого. Мне даже немножко жалко его стало, при всем при том, что плевал я на него.

Мадам Роза как-то вдруг смягчилась. Видно, ей доставило удовольствие, что она прищемила яйца этому парню. Наверно, она почувствовала, что все еще остается женщиной.

– Ну, а как чувствуете себя, мосье Кадир?

Хмырь утер слезы кулаком. У него даже не хватило сил слезить в карман за платком, слишком это был большой труд.

– Спасибо, мадам Роза, ничего. Я скоро умру. Сердце.

– Мазлтов, – благожелательно ответила мадам Роза. По-еврейски это означает: «Примите поздравления».

– Спасибо, мадам Роза. Я хотел бы увидеть своего сына, если вы не против.

– Мосье Кадир, вы должны мне за три года за пансион. Вот уже одиннадцать лет, как вы не подавали никаких признаков жизни.

Хмырь так и подскочил на стуле.

– Признаков жизни, признаков жизни, признаков жизни! – запричитал он, воздев глаза к небу, где ждут нас всех. – Признаков жизни!

Нельзя сказать, что произносил он эти слова так, как того требует их смысл, и каждый раз при этом подпрыгивал на стуле, точно ему без всякого уважения давали пенделя в зад.

– Признаков жизни! Вы, наверно, смеетесь надо мной!

– И в мыслях не держала такого, – разуверила его мадам Роза. – Вы бросили своего сына, словно это был кусок дерьма, в полном значении этого слова.

– Но у меня же не было ни вашей фамилии, ни вашего адреса. Расписка хранилась у дяди Айши в Бразилии. . . А я был заперт в психушке! Вышел только сегодня утром! И отправился в Кремлен-Бисетр к своей невестке, но они все поумирали, кроме ее матери, которая почти ничего не помнила! Расписка была приколотая к фотографии Айши вместо фото нашего сыночка. Признаков жизни! Что, интересно, вы подразумеваете под признаками жизни?

– Деньги, – весьма здравомысляще ответила ему мадам Роза.

– Где же, по-вашему, мадам, я мог их взять?

– А вот это меня никак не касается, – промолвила мадам Роза, обмахивая лицо японским веером.

Мосье Кадир Юсеф с такой жадностью глотал воздух, что кадык у него ходил вверх-вниз, точно скоростной лифт.

– Мадам, когда мы доверили вам своего сына, я был в отличной форме и полностью отвечал за свои поступки. У меня было три жены, они работали на Центральном рынке, и одну из них я нежно любил. Я мог позволить себе обеспечить своему сыну наилучшее воспитание. У меня была даже официальная известность, мое имя, Юсеф Кадир, было хорошо известно полиции. Да, мадам, *хорошо известно полиции*, именно так, черным по белому, было напечатано

в газете. «Юсеф Кадир, *хорошо* известный полиции. . . » Хорошо известный, мадам, прошу отметить, а не плохо известный. А потом у меня случилась невменяемость, и я стал причиной собственного несчастья. . .

Этот хмырь рыдал, прямо как какая-нибудь старая еврейка.

– Нет такого закона, чтобы бросать своего сына, точно кусок дерьма, и не платить за него, – строго произнесла мадам Роза и яростно взмахнула веером.

Но меня-то во всем этом интересовало только одно – четко узнать, я этот самый Мохаммед или не я. Если я, то тогда мне не десять, а четырнадцать, а это важно, потому что если мне четырнадцать, то я уже не такой сопляк, и это, прямо скажем, даже замечательно. Мойше стоял у дверей и спокойно слушал, не больно беспокоясь, потому как если этого плаксивого хмыря зовут Юсефом да еще по фамилии Кадир, то вряд ли он окажется евреем. Заметьте, я вовсе не утверждаю, что быть евреем такая уж большая удача, потому что у них своих бед выше головы.

– Мадам, может, я неправильно понимаю ваш тон, а может, в чем-то ошибаюсь, потому что не так все воспринимаю по причине моего психического состояния, но я одиннадцать лет был отрезан от внешнего мира и лишен всех материальных средств. У меня имеется медицинское свидетельство, которое удостоверяет. . .

И он начал нервно копаться в карманах. Он был из тех людей, которые никогда ни в чем не уверены, и вполне возможно, что у него не было никакой бумаги из психушки, хотя он думал, будто она у него есть, потому что искренне воображал, что его держали в психушке. Психи – это люди, которым все время объясняют, что они вовсе не те, кем они себя считают, и видят совсем не то, что видят, и потому в конце концов шарики у них окончательно заходят за ролики. Впрочем, он нашел в кармане эту бумагу и хотел дать ее мадам Розе.

– Да не желаю я никаких документов, которые что-то доказывают, тьфу, тьфу, тьфу, – ответила мадам Роза и сделал вид, будто плюет через левое плечо, чтобы отогнать неприятности, как в таких случаях и полагается делать.

– Сейчас я психически совершенно здоров, – объявил мосье Юсеф Кадир и поочередно оглядел нас, чтобы удостовериться, что так оно и есть.

– Ну что ж, могу вам только пожелать, чтоб так продолжалось и дальше, – произнесла мадам Роза, так как что другого тут еще можно было сказать.

Но, по правде говоря, не похоже было, что у этого парня все в порядке со здоровьем, особенно если принять во внимание его глаза, которые все время искали помощи, а ведь по глазам-то это проще всего определить.

– Я не мог посылать вам деньги, потому что меня объявили невменяемым и не ответственным за убийство, которое я совершил, и поместили в психушку. Думаю, деньги вам посылал дядя моей бедной жены, пока не скончался. А я, я – жертва судьбы. Поверьте мне, я не совершил бы преступления, если бы находился в состоянии, не представляющем опасности для окружающих. Айшу воскресить я не могу, но я хочу, прежде чем умру, обнять своего сына, хочу попросить у него прощения и попросить, чтобы он молился за меня Богу.

Нет, этот хмырь просто доконал меня своими отцовскими чувствами и требованиями. И потом, не с его рожей набиваться мне в папаши; мой отец должен быть настоящим мужчиной, крутым из крутых, а не слизняком. Кстати, если моя мать работала на Центральном рынке и, как он сам сказал, очень даже неплохо зарабатывала, то никто не может заявить, будто он мой отец. Я родился от неизвестного отца, и это железно на сто процентов – потому как закон больших чисел. Но мне было приятно узнать, что мою мать звали Айша. Красивее этого имени трудно придумать.

– Меня очень хорошо лечили, – рассказывал мосье Юсеф Кадир. – У меня больше не

бывает приступов бешенства, в этом смысле я излечился. Но жить мне осталось недолго, сердце у меня, мадам, не переносит волнений. Врачи выпустили меня, мадам, учитывая мои чувства. Я хочу увидеть своего сына, обнять его, попросить простить меня и . . .

Ну, повело. Заело пластинку.

– . . . и попросить его молиться за меня. Он повернулся и уставился на меня с жутким испугом по причине волнения, которое он испытывал:

– Это он?

Но голова у мадам Розы была в полном порядке и даже больше. Она обмахивалась веером и смотрела на мосье Юсефа Кадира, словно заранее наслаждалась тем, что произойдет.

Значит, она молча обмахивалась, а потом обратилась к Мойше:

– Мойше, поздоровайся со своим папой.

– Здравствуйте, папаша, – сказал Мойше, который знал, что он точно не араб и тут его ни с какой стороны не ухватишь.

Мосье Юсеф Кадир побледнел до последней крайности.

– Простите. Я не ослышался? Вы сказали: Мойше?

– Да, Мойше. А в чем дело?

Хмырь вскочил. Вскочил, словно под ним пружина сработала.

– Мойше – это еврейское имя, – сообщил он. – И в этом, мадам, я абсолютно уверен. Мойше – не имя для доброго мусульманина. Нет, возможно, у кого-то так называют, но только не в моей семье. Я, мадам, доверил вам Мохаммеда, а не Мойше. Я не желаю иметь сына-еврея, мне, мадам, этого не позволяет здоровье.

Мы с Мойше переглянулись, но все-таки удержались, не заржали.

Мадам Роза выглядела страшно удивленной. Удивление ее все росло и росло. Она продолжала обмахиваться веером. Стояло такое безмерное, безграничное молчание, когда может произойти все, что угодно. Хмырь продолжал стоять, но его всего трясло.

Мадам Роза несколько раз цокнула языком, покачивая головой:

– Вы уверены?

– В чем уверен, мадам? Я абсолютно ни в чем не уверен, мы живем не в таком мире, где можно быть в чем-то уверенным. У меня слабое сердце. Я говорю только то, что знаю, и пусть я знаю немного, но от того, что знаю, не откажусь. Одиннадцать лет назад я доверил вам сына-мусульманина трехлетнего возраста по имени Мохаммед. Вы дали мне расписку на моего сына-мусульманина Мохаммеда Кадира. Я – мусульманин, мой сын был мусульманин. Его покойная мать была мусульманка. Скажу даже больше: я вручил вам сына-араба в должном и надлежащем виде и хочу получить назад сына-араба. Я категорически не желаю сына-еврея, мадам. Не желаю, и на этом конец, точка. Здоровье не позволяет мне этого. Вам, мадам, был отдан Мохаммед Кадир, а не Мойше Кадир, и я не хочу снова сойти с ума. Я ничего не имею против евреев, мадам, да простит их Бог. Но я – араб, я – мусульманин, и сын у меня был тоже араб, мусульманин, Мохаммед. Я вам доверил его в мусульманском состоянии и хочу, чтобы точно в таком же состоянии вы мне его и вернули. Я позволил вам уже сообщить, что не могу выносить подобных волнений. Всю свою жизнь я подвергался преследованиям, и у меня имеются подтверждающие это медицинские справки, которые со всей очевидностью свидетельствуют, что я являюсь жертвой преследований.

– Но в таком случае вы уверены, что вы не еврей? – с надеждой осведомилась мадам Роза.

По лицу мосье Кадира Юсефа несколькими волнами пробежали нервные судороги.

– Мадам, я подвергался преследованиям, хоть и не являюсь евреем. У вас больше нет монополии. С еврейской монополией, мадам, покончено. И кроме евреев имеются люди, у которых есть полное право подвергаться преследованиям. Я хочу получить своего сына Мохаммеда

Кадира в том самом состоянии араба, в каком я его вручил вам в обмен на вашу расписку. И ни под каким видом не желаю сына-еврея, у меня и без этого полно неприятностей.

– Хорошо, хорошо, вы только не волнуйтесь. Вполне возможно, произошла ошибка, – успокоила его мадам Роза, потому как видела, что внутренне он страшно возбужден. По правде сказать, его было немножко жалко, особенно если подумать, сколько арабы и евреи уже пострадали вместе.

– Боже мой, ну конечно же, произошла ошибка, – произнес мосье Юсеф Кадир, и ему пришлось сесть, потому что ноги не держали его.

– Момо, принеси мне посмотреть бумаги, – попросила мадам Роза.

Я вытащил из-под кровати здоровенный семейный чемодан. Я часто рылся в нем в поисках сведений о моей матери, и потому никто лучше меня не разбирается в том бардаке, который там внутри. Мадам Роза записывала детей шлюх, когда принимала их на пансион, на малюсеньких клочках бумажки, из которых ни хрена невозможно понять, потому как главное у нас – это соблюдение тайны, так что заинтересованные могут спать спокойно. Никто не сможет их разоблачить как матерей, занимающихся проституцией, и лишит родительских прав. И если бы какому-нибудь сотинеру пришло в голову шантажировать их этим, чтобы заставить поехать в Абиджан, ему не удалось бы добыть из этих листков никаких сведений о ребенке, даже если бы он стал проводить специальное расследование.

Я подал всю кучу бумажек мадам Розе, она послунила палец и сквозь очки стала изучать их.

– Вот, нашла! – с торжеством объявила она и ткнула пальцем. – Седьмого октября тысяча девятьсот пятьдесят шестого года с мелочью.

– С какой мелочью? – плаксиво протянул мосье Кадир Юсеф.

– Это для округления. В тот день я получила двух мальчиков, одного мусульманского, а второго еврейского вероисповедания.

Она задумалась, и лицо ее просветлело, оттого что она все поняла.

– Ну вот, все ясно! – радостно объявила она. – Я, должно быть, спутала религию.

– Как? – спросил живо заинтересовавшийся мосье Юсеф Кадир. – Как спутала?

– Видимо, я воспитывала Мохаммеда как Мойше, а Мойше как Мохаммеда, – объяснила мадам Роза. – Я получила их в один и тот же день и перепутала. Маленький Мойше сейчас живет в правоверной мусульманской семье в Марселе, где к нему очень хорошо относятся. А ваш малыш Мохаммед – вот он, я воспитала его евреем. *Бармицвах* и все прочее. Можете не волноваться, он всегда ел только кошерное.

– Как – ел все кошерное? – пискнул мосье Кадир Юсеф, раздавленный до такой степени, что у него даже не было сил вскочить со стула. – Мой сын Мохаммед всегда ел только кошерное? И вы сказали – *бармицвах*? Мой сын Мохаммед стал евреем?

– Так я же и другого перепутала, – успокоила его мадам Роза. – Понимаете, когда из двоих перепутываешь одного, то обязательно перепутываешь и другого, тут уж ничего не поделаешь. Трехлетние малыши очень похожи, даже обрезанные. Я спутала, кто как обрезан, и воспитала вашего Мохаммеда правоверным евреем, так что на этот счет вы можете не волноваться. И вообще, если бросаешь своего сына на одиннадцать лет, нечего удивляться, что он стал евреем. . .

– Но я же не имел возможности по клиническим обстоятельствам! – простонал мосье Кадир Юсеф.

– Ну так что ж, он был арабом, а теперь он немножечко еврей, но ведь это все равно ваш сын! – с доброй материнской улыбкой заявила мадам Роза.

Хмырь подскочил. Негодование придало ему силы, и он смог встать со стула.

– Я требую сына-араба! – заорал он. – Я не желаю сына-еврея!

– Но это ведь тот же самый ваш сын, – с подколом сказала мадам Роза.

– Нет, не тот же самый! Его крестили!

– Тьфу, тьфу, тьфу! – сплюнула мадам Роза, потому как терпение ее имеет пределы. – Никто его не крестил, упаси нас от этого Бог! Мойше – хороший правоверный еврей. Мойше, ты ведь правда правоверный еврей?

– Да, мадам Роза, – радостно подтвердил Мойше, которому было наплевать и на это, и на то, кто его отец и мать.

Мосье Юсеф Кадир стоял и смотрел на нас глазами, полными ужаса. Потом он затопал ногой, точно танцевал на месте танец отчаяния.

– Я требую вернуть мне сына в том состоянии, в каком я его отдал! Требую сына нормальной арабской национальности, а не ненормальной еврейской!

– Еврейской он или арабской национальности, не имеет никакого значения, – промолвила мадам Роза. – Если вы хотите получить своего сына, вы возьмете его в том состоянии, в каком он есть. Сперва вы убиваете мать ребенка, потом делаете так, что вас объявляют психическим, а теперь устраиваете скандал, оттого что ваш сын вырос евреем, и это вместо благодарности! Мойше подойди и обними своего папочку, даже если это его убьет. Все-таки он – твой отец.

– И нечего убиваться, – сказал я, но при всем при этом чувствовал какое-то странное облегчение от того, что стал на четыре года старше.

Мойше направился к мосье Юсефу Кадиру, и тот произнес ужасные слова для человека, который не знал, что говорит святую истину.

– Это не мой сын! – душераздирающе крикнул он.

Мосье Юсеф Кадир встал, сделал шаг в сторону двери, и тут произошло совсем не то, что он собирался. Он выказывал совершенно ясное намерение уйти, но вместо этого прошептал «ах!», потом «ох!», прижал руку к левой стороне груди, там, где сердце, и рухнул на пол, словно ему больше нечего было сказать.

– Никак с ним что-то случилось? – спросила мадам Роза, продолжая обмахиваться японским веером, потому что ничего другого сделать она не могла. – Что с ним? Посмотри.

Признаков жизни он не подавал, и непонятно было, то ли он загнулся, то ли это с ним ненадолго. Мы немножко подождали, но он не шевелился. Мадам Роза заволновалась, потому что в нашем положении нам не хватало только полиции, которая если уж прицепится, то конца этому не будет. Она велела мне сбегать за кем-нибудь, чтобы помочь ему, но я понял, что мосье Кадир Юсеф сыграл вчистую в ящик: это было видно по тому безграничному спокойствию, какое появляется на лицах людей, которым больше не о чем тревожиться. Я щипал мосье Юсефа Кадира за разные места, подносил к его губам зеркальце, но тут уж можно было не сомневаться. Мойше, само собой, слинял, он всегда линяет, ежели что, а я помчался к братьям Заумам сообщить, что имеется налицо жмурик и его надо бы вынести на лестницу, чтобы не получилось так, будто он отбросил коньки у нас. Они поднялись к нам и перетащили его на площадку пятого этажа, к дверям мосье Шарметта: он на сто процентов француз по национальности и может позволить себе иметь покойника у своих дверей.

Но я все-таки спустился, присел рядышком с мертвым мосье Юсефом Кадиром и посидел какое-то время, и неважно, что ни он мне, ни я ему уже ничего не можем сделать.

Нос у него был гораздо длиннее, чем у меня, но ведь пока человек живет, нос у него растет.

Я обшарил его карманы, поискал, нет ли чего на память, но там была только пачка сигарет, синие «Голуаз». А в пачке всего одна, и я выкурил ее, сидя рядом с ним, и у меня было какое-то странное ощущение, оттого что все остальные сигареты скурил он, а я вот докуриваю

последнюю.

Я даже немножко поплакал. И мне это было приятно, как будто он и впрямь был кем-то для меня, и вот я его потерял. Потом я услышал, как подъехала полиция, и быстренько поднялся вверх, чтобы не нарваться на неприятности.

Мадам Роза все еще жутко боялась, и я почувствовал спокойствие, оттого что она в нормальном состоянии, а не в отключке. Вообще нам здорово повезло. Случалось, она приходила в себя всего на несколько часов, так что мосье Кадир Юсеф заявился в очень удачный момент.

Я был еще весь опрокинутый, оттого что одним махом стал старше на четыре года, не понимал, какое должно быть у меня теперь лицо, и даже посмотрелся в зеркало. Это было самое важное событие в моей жизни, именно то, что называется революцией. Мне было не по себе, как всегда, когда оказывается, что ты уже не тот, каким был. Я понимал, что у меня и мысли теперь должны быть другие, но пока я предпочитал вообще ни о чем не думать.

– О Господи... – пробормотала мадам Роза, и мы постарались не говорить о том, что только что произошло, чтобы не нагонять волну. Я уселся на табурет у ее ног и держал за руку, испытывая благодарность за все, что она сделала, чтобы не отдать меня. Кроме друг друга, у нас никого на свете не было, и нам надо было держаться вместе. Я вот думаю, что, когда живешь с кем-нибудь страшно некрасивым, в конце концов начинаешь любить его и потому, что он такой страхолюдный. И еще я думаю, что настоящим страхолюдинам очень нужно, чтобы их любили, и в этом их шанс, что их полюбят. Правда, сейчас, когда я вспоминаю, я говорю себе, что мадам Роза была не такая уж уродина, у нее были красивые карие собачьи глаза, как у евреев, просто не надо было думать все время, что она женщина, потому как тут она очков бы себе не заработала.

– Ты огорчился, Момо?

– Да нет, мадам Роза, я даже рад, что мне стадо четырнадцать.

– Да, наверно, так даже и лучше. И потом, тебе вовсе ни к чему психический отец, потому что это передается иногда по наследству.

– Мне и вправду повезло, мадам Роза.

– Знаешь, ведь Айша пропускала в день столько клиентов, что просто невозможно точно определить, кто был твоим отцом. Она же залетела с тобой на работе, потому что работу не прекращала ни на день.

Потом я спустился в кафе мосье Дриса, купил мадам Розе шоколадное пирожное, и она его съела.

Несколько дней голова у нее оставалась светлая, это и есть то, что доктор Кац называл временной ремиссией. Два раза в неделю кто-нибудь из братьев Заумов поднимал к нам на горбу доктора Каца, потому что сам он подняться на седьмой этаж, чтобы установить ухудшение, не мог. Только не нужно забывать, что, кроме головы, у мадам Розы были еще и другие органы, так что обследовать ее нужно было всю. Когда доктор Кац осматривал ее, я спускался на улицу и ждал там, мне не хотелось при этом присутствовать.

Однажды, когда я так стоял, мимо проходил Негр. Все зовут его Негром, непонятно почему, может, чтобы отличить от других чернокожих квартала, потому что всегда нужен кто-то, кто отдувается за остальных. Тошей его нет никого, он ходит в котелке, и ему пятнадцать лет, из которых по меньшей мере пять он живет один. Родители у него были, но они отдали его дяде, а тот перепаснул своей снохе, а та перекинула кому-то из тех, кто занимался благотворительностью, и так пошло-поехало, так что теперь хрен разберешься, кто первым начал. Но он не ширялся, говорил, что злопамятный и не желает подчиняться законам общества. В нашем квартале он был известен как доставщик сообщений, потому что стоил дешевле, чем звонок по телефону. В день он выполнял по сотне таких поручений, и у него даже была собственная комнатеха. Негр увидел, что я не в олимпийской форме, и пригласил пойти сыграть в настольный футбол в бистро на улице Виссон, где имелся стол с футболом. Он спросил меня, что я буду делать, если мадам Роза помрет, и я сказал, что у меня есть кое-кто на примете.

Но он видел, что я заливаю. Я ему сказал, что недавно одним махом стал на четыре года старше, и он поздравил меня. Мы немножко поговорили насчет того, чем зарабатывать, если тебе четырнадцать или пятнадцать лет и никого у тебя в целом свете нету. Он знал адреса, куда можно пойти, но сказал, что зарабатывать задницей можно, если тебе нравится это, а иначе не стоит, потому как гнусное это дело. Сам он никогда этим не собирался заниматься, потому что это женская профессия. Мы выкурили вместе сигаретку, поиграли чуток в футбол, но Негру надо было идти по поручениям, а я не из тех парней, которые цепляются, так что не отвязешься.

Когда я поднялся наверх, доктор Кац был еще у нас и пытался уговорить мадам Розу отправиться в больницу. Там были еще и другие – мосье Заум-старший, мосье Валумба, который не работал, и пятеро его приятелей из общаги, потому что приближающаяся смерть придает человеку значительности и к нему начинают испытывать почтение. Доктор Кац врал как нанятый, чтобы поднять настроение, потому что это тоже очень важно.

– А вот и наш малыш Момо пришел узнать новости. Ну что ж, новости хорошие, рака у нас по-прежнему нет, в этом я могу заверить вас совершенно определенно, ха-ха-ха!

Все улыбались, особенно мосье Валумба, который был тонким психологом, и мадам Роза тоже была довольна, потому что-то хоть в чем-то в жизни ей все-таки повезло.

– Но поскольку у нас случаются тяжелые периоды, потому что голова у нас испытывает недостаток кровоснабжения, а сердце и почки у нас уже не те, что были когда-то, наверно, будет правильней, если некоторое время мы полежим в больнице, в большой светлой палате, где в конце концов нам станет лучше.

У меня даже в заднице продрало морозом, когда я слушал эти слова доктора Каца. Ведь всем же в квартале было известно, что в больнице ни за что не станут аборттировать человека из жизни, и врачи будут насильно заставлять тебя жить, даже если ты будешь выть от боли и если у тебя осталось хоть полкило мяса на костях, куда можно вколоть иглу. Медицина должна иметь последнее слово и бороться до конца, чтобы не дать исполниться Божьей воле. На мадам Розе было синее платье и вышитая шаль, вещь дорогая, и ей было приятно, что о ней заботится столько народу. Мосье Валумба заиграл на своем музыкальном инструменте, потому как положение, сами понимаете, было безвыходное: никто ничего сделать не мог. Я тоже улыбался, но в душе было одно желание – сдохнуть. Иногда у меня бывает ощущение, что жизнь – это куча дерьма, уж поверьте моему большому опыту. Потом они все один за другим вышли в молчании: бывают моменты, когда и сказать-то нечего. Мосье Валумба извлек еще несколько звуков из своего инструмента, но они смолкли, когда он вышел на площадку.

И мы остались вдвоем, я и она, чего бы я никому не пожелал.

– Ты слышал, Момо? Вот опять говорят – в больницу. А что будет с тобой?

Я стал насвистывать, это единственное, что я мог ответить. Я повернулся к ней, чтобы выдать ей что-нибудь такое в духе Зорро или кого там еще, но в этот самый момент в голове у нее что-то захлопнулось, и два дня и три ночи она была в полной отключке. Но сердце у нее продолжало работать, так что она была, можно сказать, живая.

Я не решился позвать доктора Каца или хотя бы кого из соседей, потому что был уверен: на этот раз они нас разлучат. Я сидел рядом с ней сколько мог, потому что все-таки и сбегать отлить надо, и чего-нибудь проглотить. Я хотел быть рядом с ней, когда она придет в себя, чтобы первое, что она увидела, был я. Я прикладывал руку к ее груди и чувствовал сердце, несмотря на килограммы жира, что отделяли его от моей ладони. Пришел Негр, потому что он нигде не встречал меня, и долго, покуривая сигарету, смотрел на мадам Розу. Потом порылся в кармане и протянул мне отпечатанное объявление. Там было: «*Бесплатный* вывоз крупных вещей, тел. 278-78-78».

Негр хлопнул меня по плечу и ушел.



На второй день я пошел к мадам Лоле, и она поднялась к нам, прихватив пластинки с самой громкой поп-музыкой. Мадам Лола сказала, что они и мертвого разбудят, но ничего не вышло. Да, это была растительная жизнь, о которой доктор Кац предупреждал в самом начале, и мадам Лола до того разволновалась, увидев свою подругу в таком состоянии, что впервые не поехала ночью в Булонский лес, несмотря на то что теряла в заработке. Нет, этот сенегалец – настоящий человек, и как-нибудь я выберусь повидаться с ним.

Мадам Розу пришлось оставить в кресле. Даже мадам Лола, хоть она много лет и занималась боксом, не могла ее поднять.

Самое печальное, если у человека отключается голова, это то, что никогда не известно, сколько это может продлиться. Доктор Кац говорил, что мировой рекорд установил один американец, который протянул так семнадцать лет с хвостиком, но для этого нужен уход и специальные устройства, называющиеся капельницами. Страшно даже было подумать, что мадам Роза может стать чемпионом мира; ей и так уже на ее веку досталось, и не хватало только еще бить рекорды.

Мадам Лола была добра как не знаю кто. Ей всегда хотелось иметь детей, но я вам уже объяснял» что у нее не было того, что для этого необходимо, как и у большинства трансвестите в, которые по законам природы не могут рожать. Она сказала, что будет заботиться обо мне, посадила к себе на колени и пела колыбельные, которые напевают в Сенегале маленьким детям. Во Франции тоже есть колыбельные, но мне не доводилось их слышать, потому как я никогда не был младенцем, голова у меня всегда была полна совсем другими заботами. Я извинился, потому что мне уже было четырнадцать и играть со мной, как с куклой, это выглядело по-дурацки. Потом мадам Лола ушла, и в караул около мадам Розы заступил мосье Валумба и его племя; они даже зажарили целиком барашка, и мы его ели, сидя на полу вокруг нее, точно на пикнике. Было очень славно, впечатление, будто ты на природе.

Мы пытались покормить мадам Розу, сперва разжевав ей мясо, но она так и сидела с кусками, свешивающимися изо рта, глядя своими добрыми еврейскими глазами на что-то, чего она не видела. Страшного, правда, ничего не было, потому как у нее было столько жира, что вполне хватило бы накормить не только ее, но и все племя мосье Валумбы, хотя времена уже изменились и людей они больше уже не ели. Ну а потом, так как настроение у всех было хорошее и мы выпили пальмовой водки, они заиграли музыку и стали плясать вокруг мадам Розы. Соседи на шум не жаловались, потому что люди это были не из тех, которые жалуются, к тому же у всех у них документы были не в порядке. Мосье Валумба влил мадам Розе немножко пальмовой водки; ее покупают на улице Биссон, в магазине мосье Сомго, и там же продаются орехи кола, которые тоже очень полезны, особенно если у вас свадьба. Похоже, пальмовая водка хорошо подействовала на мадам Розу, так как она ударяет в голову и открывает сосуды кровообращения, но толку особого не получилось, мадам Роза лишь покраснелась. Мосье Валумба сказал, что гораздо важнее погромче бить в там-тамы, чтобы отогнать смерть, которая, в этом можно быть стопроцентно уверенным, уже крутится здесь; она по каким-то своим личным причинам до посинения боится тамтамов. Там-тамы – это такие маленькие барабаны, по которым стучат руками, и так продолжалось всю ночь.

На второй день я уже решил, что мадам Роза вышла на дистанцию, чтобы побить мировой рекорд, и что ей не избежать больницы, где врачи сделают все возможное для этого. Я вышел из дому и брел по улицам, думая о Боге и тому подобных вещах, и у меня было жуткое желание уйти куда-нибудь, куда глаза глядят.

Сперва я отправился на улицу Понтье, в тот самый зал, где они могут вертеть мир назад. Мне просто хотелось увидеть красивую блондинку, от которой пахло такой свежестью; я о

ней вам уже рассказывал, и надеюсь, вы помните: ее зовут Падин. Может, это и не очень хорошо было по отношению к мадам Розе, но чего вы хотите. Мне было так хреново, что я даже не чувствовал те четыре года, на которые стал старше: состояние было, будто мне по-прежнему десять лет, я еще совершенно не привык к своему новому возрасту.

Если я вам скажу, что она была там и ждала меня, вы, конечно, можете мне не поверить, потому что я не из тех парней, которых ждут. Но она там вправду была, и я прямо-таки чувствовал вкус ванильного мороженого, которое она мне тогда купила.

Она не видела, как я вошел, она говорила в микрофон слова про любовь, а это из тех вещей, которые полностью захватывают человека. На экране ничего себе тетка шевелила губами, но говорила-то вместо нее эта моя блондинка. Она отдала той свой голос. Ну, это все техника.

Я устроился в уголке и стал ждать. И так мне было хреново, что я бы заплакал, если бы не стал старше на четыре года. Но все равно мне приходилось сдерживаться. Зажегся свет, и блондинка заметила меня. В зале было не очень светло, и все-таки она сразу увидела, что я там, и тут что-то произошло, и я не смог сдержаться.

– Мохаммед!

Она подбежала ко мне, словно я кем-то был для нее, обняла меня за плечи. Остальные смотрели на меня, потому что Мохаммед – имя арабское.

– Мохаммед! Что случилось? Почему ты плачешь? Мохаммед!

Мне не больно нравилось, что она называла меня Мохаммедом, потому что это все-таки не то что Момо, но чего я мог сделать.

– Мохаммед! Скажи, что случилось?

Думаете, это было так легко – сказать ей? Я даже не знал, с чего начать. Я глубоко вздохнул.

– Ни... ничего.

– Знаешь что, я как раз кончила работать, поедem ко мне, и там ты мне все расскажешь.

Она пошла взяла плащ, и мы уехали в ее машине. Время от времени она поворачивалась ко мне и улыбалась. От нее так приятно пахло, что просто поверить невозможно. Она видела, что я не в олимпийской форме, я даже икаю, но ничего не говорила, потому что чего тут сказать, только иногда, на красном свете, касалась ладонью моей щеки, а в таком состоянии это всегда приносит облегчение. Мы подъехали к ее дому по адресу улица Сент-Оноре, и она завела машину во двор.

Мы вошли к ней, а там был незнакомый мне парень. Высокий, с длинными волосами, в очках; он молча пожал мне руку, словно все было нормально, как надо. Я бы сказал, он был молодой, может, всего раза в два или в три старше меня. Я огляделся посмотреть, не выйдут ли те две белокурые девчонки, которые у них уже есть, и не скажут ли, что не желают видеть меня здесь, но была только собака, и тоже не злая.

Они начали говорить между собой на английском, а я этого языка не знаю, а потом угостили меня чаем с классными сэндвичами, ну и я как следует порубал. Они оставили меня, пока я заправлялся, как будто так и нужно, а потом этот парень немножко поговорил со мной, чтобы узнать, пришел ли я в норму, и я попытался хоть что-то сказать, но во мне столько всего накопилось, что мне даже было трудно дышать, на меня напала икота и астма, как у мадам Розы, потому что астма – она ведь тоже заразная.

Так что с полчаса, наверно, я молчал, как рыба-фиш по-еврейски, только икал и слышал, как парень сказал, что я в шоке, и это доставило мне удовольствие, потому что, похоже, я заинтересовал их. Потом я встал, сказал им, что мне надо идти, ввиду того что есть один старый человек, который находится в состоянии отключки и нуждается во мне, но блондинка,

то есть Надин, пошла на кухню и вернулась с ванильным мороженым, а это была самая вкусная вещь, которую мне доводилось есть в моей сучьей жизни; можете мне не верить, но я так считаю.

Потом мы немножко поговорили, потому что я уже был в порядке. Когда я им объяснил, что этот человек – старая еврейка, которая находится в отключке и вышла на побитие рекорда мира во всех категориях, и рассказал все, что толковал мне доктор Кац насчет растительного существования, они стали обмениваться словами, уже знакомыми мне, вроде сенильности и церебрального склероза, и я был рад, потому как я говорил о мадам Розе, а говорить о ней мне всегда приятно. Я объяснил им, что мадам Роза была шлюхой, вернулась как депортированная из еврейских общаг, организованных немцами, что она открыла левый пансион для детей шлюх, которых могли шантажировать лишением родительских прав за незаконную проституцию, и потому им приходилось прятать своих детишек: ведь очень часто соседи оказываются сволочами и могут настучать, чтобы малышей забрали в приют. Не знаю почему, но мне вдруг стало легче, оттого что я рассказываю им все это; я поудобнее уселся в кресле, а парень даже угостил меня сигаретой, дал прикурить от своей зажигалки и слушал меня так, будто я говорю что-то жутко важное. Нет, правда, я видел, что произвел на них впечатление. Короче, я завелся, меня понесло, и я уже не мог остановиться, так мне хотелось все выложить, но, видно, это невозможно, потому что я не мосье Виктор Гюго, у меня нет еще того, что для этого нужно. Все это наваливалось разом со всех сторон, и все время я начинал с конца – про мадам Розу в отключке и про то, как мой отец убил мою мать, потому что был психический, хотя должен вам сказать, я до сих пор не знаю, где этому начало, а где конец, потому как, по моему мнению, все продолжается до сих пор. Мою мать звали Айша, она зарабатывала шахной и иногда пропускала по двадцать клиентов в день, пока ее не убили в припадке бешенства, но нет никаких доказательств, что я это унаследовал, мосье Кадир Юсеф не мог поклясться, что был моим отцом. Парень мадам Надин – его зовут Рамон – сказал, что он тоже немножко врач и что он не больно-то верит в наследственность и чтобы я не брал в голову. Он щелкнул зажигалкой, дал мне прикурить и сказал, что у детей шлюх положение лучше, чем у других: они могут выбрать себе отца, какой им нравится, и ничто их не ограничивает. И еще он сказал, что у многих таких, которые случайно родились, потом все было хорошо и из них получились стоящие парни. Я ответил ему, что согласен, раз уж ты появился на свет, никуда не денешься, это не зал, где работает мадам Надин и где можно все прогнать назад и снова оказаться в утробе матери, но отвратней всего, что нельзя абортить старых людей вроде мадам Розы, которые уже сыты жизнью под завязку. Но мне, правда, было легче оттого, что я им рассказываю, казалось, будто, пока я говорю, мне не так худо. А у этого парня по имени Рамон физиономия была вовсе не противная, и, пока я рассказывал, он все время занимался своей трубкой, но я-то видел, что ему это интересно. Я только боялся, как бы Надин не оставила нас с ним одних, потому что без нее все это было бы не так. И она все время мне улыбалась. Ну а когда я им рассказал, как одним махом мне стало четырнадцать, хотя вчера еще было десять, тут вообще не передать, до чего им стало интересно. Я просто не мог остановиться, так я их интересовал. И все делал, чтобы заинтересовать еще больше, чтобы они почувствовали, что я не просто какой-нибудь там.

– Мой отец пришел забрать меня, он меня отдал на пансион к мадам Розе, перед тем как убить мою мать, и его объявили психическим. На него работали и другие шлюхи, но мою мать он убил, потому что она больше всех ему нравилась. И когда его выпустили из психушки, он пришел забрать меня, но мадам Роза ничего не желала знать, потому что для меня ничего хорошего не было в том, чтобы занять психического отца, это же может быть наследственным. И тогда она сказала ему, что его сын – Мойше, а он еврей. У арабов

тоже есть Мойше, но они не евреи. И вот представьте себе, когда мосье Юсефу Кадиру, который был араб и мусульманин, предложили возвратить сына-еврея, ему так заплохело, что он загнулся. . .

Доктор Рамон, он внимательно слушал, но я-то старался главным образом для мадам Надин.

– . . . Мадам Роза – самая некрасивая и самая одинокая женщина, которую я видел, и самая несчастная, еще счастье, что я у нее есть, потому что никому больше она не нужна. Не понимаю, почему на одних людей сваливается все – они и старые, и уродливые, и больные, и бедные, а другие – хоб что. Несправедливо это. У меня есть друг, он – начальник всей полиции, и у него все силы безопасности, сильней его никого нет, это самый главный легавый. У него, как у легавого, столько силы, что он мог бы заделать кого угодно, короче, он – король. Когда мы с ним вместе идем по улице, он обнимает меня за плечи, чтобы показать всем, что мне он как отец. А когда я был маленький, ко мне ночью приходила львица и вылизывала мне лицо, и в десять лет я еще представлял себе разное такое, а в школе говорили, что я нарушаю порядок, потому как не знали, что я на четыре года старше; это было еще до того, как пришел мосье Юсеф Кадир с распиской и объявил, что он мой отец. А всему, что я знаю, меня научил мосье Хамиль, торговец коврами, он очень образованный, но сейчас он слепой. У мосье Хамиля всегда с собой Книга мосье Виктора Гюго, и, когда я вырасту, я тоже напишу отверженных, потому что люди всегда пишут, когда у них есть что сказать. Мадам Роза боялась, как бы у меня не случился припадок бешенства и я не перерезал ей глотку, и вообще она боялась, что это передается по наследству. Но ведь ни один из детей шлюх не может сказать, кто его отец, и я никогда никого не стану убивать, не дело это. Когда я вырасту, в моем распоряжении будут все силы безопасности, и я никого не буду бояться. Но жаль, что нельзя все погнать задом наперед и вернуть назад, чтобы мадам Роза опять стала молодой и красивой и на нее было бы приятно смотреть. А иногда я думаю уйти с цирком, у меня там есть друзья-клоуны, но я не могу этого сделать и послать все куда подальше, потому что еврейка останется одна, а я ведь должен заботиться о ней. . .

Я все больше и больше заводился и не мог остановиться, потому что боялся, что, если остановлюсь, они больше не станут меня слушать. Лицо у доктора Рамона было внимательное, он все смотрел сквозь очки и вдруг даже встал и включил магнитофон, чтобы ничего не пропустить, и я почувствовал себя просто страшно важным. У него длинные и густые волосы. Вообще-то это в первый раз я удостоился такого интереса, и меня записывали на магнитофон. Я ведь никогда не знал, что нужно сделать, чтобы удостоиться интереса, – пришить когонибудь при захвате заложников или, может, еще чего. Уж можете мне поверить, я точно вам говорю, в мире такой огромный недостаток внимания, что всем все время нужно выбирать; это как в отпуске, когда невозможно сразу поехать и в горы, и на море. Вот и приходится выбирать, что нам больше нравится при недостатке внимания в мире, и люди бросаются на самое лучшее и за что дороже всего заплачено, например на нацистов, которые обошлись в миллионы, или на Вьетнам. И кто уж тут станет интересоваться старой еврейкой на седьмом этаже без лифта, которая жутко настрадалась в своей жизни, это не пойдет по первому классу, можете быть уверены. Людям, чтобы почувствовать интерес, нужны миллионы и миллионы, и нельзя на них за это сердиться, потому что, известное дело, чем что-то меньше, тем меньше внимания на него обращают. . .

Я развалился в кресле, как король, и говорил, говорил, и самое забавное, они меня слушали, как будто никогда ничего подобного не слышали. Говорить меня подначивал главным образом доктор Рамон, а что до блондинки, то у меня было впечатление, что она не хочет меня слушать, потому как иногда она делала такое движение, словно собиралась заткнуть

уши. Меня это немножко смешило, потому что хочешь не хочешь, а жить-то приходится.

Доктор Рамон поинтересовался, что я имел в виду, когда говорил о состоянии потерянности, и я ему ответил, что это когда нет ничего и никого. А потом он захотел узнать, на что мы жили, после того как шлюхи перестали приводить к нам мальцов на пансион, но я его сразу же успокоил, сказал, что задница у мужчины – это самое святое, мадам Роза мне это объяснила, когда я еще даже не знал, на что ее можно употреблять. Нет, задницей я не зарабатываю, он может быть спокоен. У нас есть подруга, мадам Лола, которая работает в Булонском лесу как транссвистит, и она нам здорово помогает. Если бы все были как она, мир был бы совсем другой и несчастных было бы в сто раз меньше. Она была чемпионом по боксу в Сенегале и зарабатывает достаточно денег, чтобы иметь кучу детей, если бы тут против нее не была природа.

По тому, как они меня слушали, я прекрасно видел, что они ни фига не знают о жизни, и я им еще рассказал, как был сотинером на улице Бланш, чтобы иметь немножко карманных денег. Нет, я, конечно, старался произносить сутенер, а не сотинер, как говорил, когда еще был маленьким, но срывался, потому что привык. Иногда доктор Рамон говорил мадам Надин несколько слов о политике, но я не больно-то понимал, потому как политика – это не для молодежи.

Чего я только им не нарасказывал, и меня все тянуло продолжать и продолжать, столько во мне еще оставалось всего, и так мне хотелось все это выложить. Но я здорово притомился и уже начинал видеть синего клоуна, подающего мне знаки, как часто бывает, когда мне хочется спать, и я боялся, что они тоже увидят его и станут думать, будто я чокнутый или вроде того. Я уже не мог говорить, и они поняли, что я устал, и предложили мне остаться у них и лечь спать. Но я им объяснил, что должен заниматься мадам Розой, которая скоро умрет, а после этого я зайду к ним. Они опять дали мне бумажку с их фамилией и адресом, а мадам Надин сказала, что отвезет меня на машине и что доктор поедет с нами глянуть на мадам Розу, чтобы понять, что тут еще можно сделать. Не знаю, чего еще можно сделать для мадам Розы после того, что с ней уже сделали, думаю, ничего, но в машине проехаться я согласился. Но тут приключилась одна забавная штука.

Мы уже выходили, и тут кто-то позвонил в дверь пять раз подряд; мадам Надин пошла открывать, и вошли две девчонки, я их уже видел, и они пришли к себе домой, это было ясно с первого взгляда. Это были ее дочки, они вернулись из школы или еще откуда в том же роде. Обе блондинистые, а одеты – просто мечта, шмотки самые шикарные, такие не сопнешь, потому как они не на лотке перед магазином лежат, а в самом магазине, и, чтобы подойти к ним, надо проходить мимо продавщиц. Они сразу посмотрели на меня так, словно я был кусок дерьма. Одет я был, конечно, не шикарно, я это сразу почувствовал. Кепка у меня сидела на затылке, потому как у меня много волос, а пальто длинное, до самых пят. Когда воруюсь, пет времени примерить, чтобы проверить – велико или мало, не жмет ли где. Они, правда, ничего не сказали, но было ясно: мы из разных кварталов.

Никогда я еще не видел таких белокурых девчонок, как эти. И клянусь вам, они обе были как новенькие, прямо как неиспользованные. Нет, правда, таких не каждый день встретишь.

– Идите сюда, я вас представлю нашему другу Мохаммеду, – подозвала их мать.

Не надо ей было говорить «Мохаммед», надо было сказать – «Момо». Во Франции Мохаммед – это значит «арабская задница», а я оскорбляюсь, когда меня так называют. Нет, я вовсе не стыжусь, что я араб, совсем даже наоборот, но во Франции Мохаммед – это подметальщик или чернорабочий. Это не одно и то же, что алжирец. А потом Мохаммед звучит по-дурацки. Это все равно, как если бы во Франции кого-то звали Иисус Христос, все сразу лопались бы от смеха.

Девчонки сразу же начали меня подъедать. Младшая – ей лет шесть-семь, не больше, а вторая выглядит на целых десять – посмотрела на меня так, словно никогда ничего подобного не видела, и спросила:

– Почему он так одет?

Я вовсе не думал оскорбляться. Я прекрасно понимал, что я здесь не у себя. Но тут другая презрительно глянула на меня и поинтересовалась:

– Ты что, араб?

Ну уж нет, я никому не позволю обзывать меня арабом. Хотя не было смысла оскорбляться, я вовсе не ревновал и не завидовал, просто место было не для меня и к тому же уже занято, так что чего тут говорить. В горле у меня встал ком, я его проглотил и быстро выскочил на улицу – одним словом, слинял.

Да, мы из разных кварталов.

**Я** остановился у кино, но на этот фильм несовершеннолетних не пускали. Смеяться охота, когда подумаешь обо всем том, что запрещено несовершеннолетним, и о том, на что мы имеем право.

Кассирша заметила, что я разглядываю фотографии на афише, и велела мне сваливать в рамках защиты несовершеннолетних. Дура. Мне уже остохренели все эти запреты для несовершеннолетних, так что я расстегнул ширинку, показал ей солоп и убежал, потому как в таких случаях надо сразу смываться.

На Монмартре я прошел мимо целой кучи секс-шопов, но они тоже под запретом для несовершеннолетних, а потом, мне вовсе не нужны все эти штучки, если мне охота подрочить. Секс-шопы, они для стариков, которые уже не способны дрочить без этого.

Тот день, когда моя мать решила не делать аборт, это был геноцид. У мадам Розы это слово не сходит с языка, она образованная, ходила в школу.

Нет, жизнь – это штука не для каждого.

Больше я нигде не задерживался, у меня было только одно желание – поскорей вернуться домой и сидеть рядом с мадам Розой, потому что мы с нею, слава Богу, были одного дерьма ягоды.

А когда я пришел домой, у дома стояла «скорая помощь», и я решил, все, капец, у меня больше никого не осталось, но, оказывается, она приехала вовсе не за мадам Розой, а за каким-то другим покойником. Я почувствовал такое облегчение, что, наверно, заплакал бы, если бы не стал на четыре года старше. Я ведь был совершенно уверен, что остался один. А это был труп мосье Буаффы. Вы, конечно, помните, про мосье Буаффу я вам ничего не рассказывал, потому что о нем и рассказать-то нечего, он почти не выходил. У него было что-то с сердцем, и мосье Заум-старший, который стоял на улице, сказал мне, что никто не заметил, как он умер, потому что он даже почты никогда не получал. Никогда в жизни я так не радовался, глядя на покойника, но вовсе не потому, что я имел что-то против мосье Буаффы, а из-за мадам Розы, радовался, что это случилось не с ней.

Я взлетел наверх, дверь была открыта, друзья мосье Валумбы ушли, но они оставили гореть свет, чтобы мадам Розе было видно. Она сидела в своем кресле, и вы можете представить мою радость, когда я увидел, что по ее щекам текут слезы: ведь это доказывало, что она жива. Она даже немножко содрогалась, ну, как все люди, когда рыдают.

– Момо. . . Момо. . . Момо. . . – больше ничего она была не в силах произнести, но мне и этого было достаточно.

Я бросился и поцеловал ее. От нее воняло, потому что она ходила под себя, пока была в таком состоянии. Но я еще раз поцеловал ее, чтобы только она не подумала, будто я брезгую.

– Момо. . . Момо. . .

– Да, мадам Роза, я, а кто же еще?

– Момо. . . Я слышала. . . Вызвали «скорую». . . Они сейчас придут. . .

– Это не к вам, мадам Роза, это к мосье Буаффе, он умер.

– Я боюсь. . .

– Знаю, мадам Роза, но это доказывает, что вы еще как живы.

– «Скорая». . .

Наверно, говорить ей было трудно, ведь чтобы произносить слова, нужны мускулы, а они у нее все стали дряблыми.

– Это не за вами. Они даже не знают, что вы тут живете, клянусь Пророком. Херем.

– Они придут, Момо. . .

– Не сейчас. Никто вас не заложил. Вы еще какая живая. Пусть вы и обделались, но ведь обделываются только живые.

Похоже, она чуток успокоилась. Я смотрел на ее глаза, чтобы не видеть остального. Можете мне не верить, но у этой старой еврейки глаза были необыкновенной красоты. Как ковры мосье Хамиля, когда он говорил: «У меня тут ковры необыкновенной красоты». Мосье Хамиль был уверен, что на свете нет ничего прекрасней красивого ковра и что сам Аллах восседает на таком ковре. Если хотите знать мое мнение, Аллах много на чем восседает.

– Да, воняет, ты прав.

– Это доказывает, что внутри у вас все функционирует.

– *Инш'Аллах*, – сказала мадам Роза. – Я скоро умру.

– *Инш'Аллах*, мадам Роза.

– Момо, я рада, что умру.

– Мы все радуемся за вас, мадам Роза. Здесь у вас только одни друзья. Все вам желают добра.

– Только нельзя им дать увезти меня в больницу, Момо. Ни за что нельзя.

– Можете не беспокоиться, мадам Роза.

– Момо, они там, в больнице, насильно будут заставляя меня жить. У них на этот счет есть законы. Настоящие Нюрнбергские законы. Ты этого не знаешь, ты еще слишком мал.

– Я никогда не был слишком мал ни для чего, мадам Роза.

– Доктор Кац сообщит обо мне в больницу, и они приедут за мной.

Я промолчал. Если уж евреи начали закладывать друг друга, то мне в это мешаться нет резона. Чихать мне на этих евреев, они такие же люди, как все.

– А в больнице они ни за что не абортируют меня.

Я по-прежнему молчал в тряпочку. Только держал ее за руку. Так во всяком случае мне не приходилось ей врать.

– Момо, сколько они заставили мучиться того чемпиона мира из Америки?

Я прикинулся дурачком:

– Какого чемпиона?

– Ну того, из Америки. Я слышала, как ты говорил о нем с доктором Кацем.

Только этого не хватало.

– Мадам Роза, у них там, в Америке, рекорды мира по всему, чего хочешь, они все большие спортсмены. Во Франции на Олимпиаде в Марселе сплошные иностранцы. Есть даже из Бразилии и вообще неведомо откуда. Они не заберут вас. Я имею в виду, в больницу.

– Поклянись мне. . .

– Пока я здесь, мадам Роза, хрен им, а не больница.

Она уже почти что улыбалась. Между нами говоря, когда она улыбалась, это ее вовсе не красило, совсем даже наоборот, потому что подчеркивало все остальное. Особенно плохо у нее было с волосами. На голове у нее еще оставались тридцать две волосинки, как в прошлый раз.

– Мадам Роза, а почему вы мне ввали?

Она, похоже, была искренне удивлена:

– Я врала тебе?

– Почему вы мне говорили, что мне десять, когда мне уже четырнадцать?

Можете мне не верить, но она даже чуток покраснела.

– Я боялась, Момо, что ты оставишь меня, и потому немножко уменьшила твой возраст. Ты всегда был моим маленьким мужчиной. Я ведь и вправду никогда никого так не любила,



как тебя. И когда я посчитала, сколько тебе лет, то перепугалась. Я не хотела, чтобы ты слишком быстро стал взрослым. Прости меня.

Неожиданно я поцеловал ее; по-прежнему не выпуская ее руки, я обнял ее за плечи, как будто она была женщиной. А потом пришли мадам Лола и старший из братьев Заумов; они ее подняли, раздели, положили на пол и помыли. Мадам Лола попрыскала ее всюду духами, на нее надели парик и кимоно и уложили в чистую постель, так что смотреть на нее было одно удовольствие.

Но вообще-то дела у мадам Розы шли все хуже и хуже, и я могу вам сказать только одно: это страшно несправедливо, когда вся жизнь заключается только в страданиях. Весь ее организм был уже ни к хренам, и вечно давало знать себя если не одно, то другое. На беззащитных стариков нападать легче всего, и мадам Роза была жертвой этих преступлений. Все у нее было не в порядке – сердце, печенка, почки, бронхи, не осталось ничего здорового. Дома у нас мы были только я и она, и все, а за дверью – одна мадам Лола, больше никого. Каждое утро я устраивал мадам Розе для разминки прогулку, чтобы она не залежалась, и она ходила, опираясь мне на плечо, от двери до окна и обратно. Во время прогулки я включал еврейскую пластинку, ее любимую, которая была не самая печальная. Не знаю почему, но у евреев все пластинки печальные. Такой у них фольклор. Мадам Роза часто повторяла, что все ее несчастья от евреев, и, если бы она не была еврейкой, она не знала бы и десятой доли всех бед, что сваливались на нее.

Мосье Шарметт прислал венок, потому как не знал, что на самом деле умер мосье Буаффа, и думал, что это мадам Роза, чего все ей и желали для ее блага, и мадам Роза была просто не знаю как счастлива, потому что это придавало ей надежды, а еще и потому, что впервые в жизни ей прислали цветы. Соплеменники мосье Валумбы притащили бананов, цыплят, манго, риса, как заведено у них, когда в семье происходит какое-нибудь радостное событие. Это заставило мадам Розу поверить, что скоро все кончится, и она уже не так боялась. Даже отец Андре, католический священник негритянских общаг на улице Биссон, нанес нам визит, но пришел он не как кюре, а просто так. Он не охмурял мадам Розу и вел себя очень корректно. Мы тоже с ним ни о чем таком не говорили, потому что сами понимаете, Бог – это Бог. Он делает что хочет, потому как у Него сила.

Отец Андре умер потом от разрыва сердца, но я думаю, причина была не в нем, просто его довели. Я не вспоминал о нем раньше, потому что мы с мадам Розой почти не касались его. Его прислали в Бельвиль по той причине, что надо было заниматься африканскими рабочими-католиками, а ни я, ни мадам Роза католиками не были. Он был очень мягкий, и вид у него был вечно немножко виноватый, словно он знал, что его есть в чем упрекнуть. Я рассказываю вам о нем, потому что он был хороший человек, и, когда он умер, у меня остались о нем самые лучшие воспоминания.

Отец Андре вел себя так, словно заглянул только на минутку, а я спустился на улицу узнать новости об одной дрянной истории, которая недавно случилась. Ребята, которые ширяются героином, все до одного называют его «говно», а один восьмилетний мальчонка, слышавший, что парни делают себе уколы «говна» и получают от этого кайф, посрал на газетку и зарядил себе укол настоящего говна, думая, что так и надо, ну и отдал концы. В результате замели Дылду и еще двух ребят за то, что они не объяснили ему, но я-то считаю, что они вовсе не обязаны были учить восьмилетнего пацана, как и чем колоться.

А когда я вернулся, то обнаружил рядом с отцом Андре раввина из синагоги с улицы Шом, которая находится по соседству с кошерной лавкой мосье Рубина; раввин, надо понимать, узнал, что вокруг мадам Розы увивается кюре, и перепугался, как бы она не умерла по христианскому обряду. До сих пор у нас ни разу и ноги его не было, хотя знал он мадам Розу еще с тех пор, когда она была шлюхой. Ни отец Андре, ни раввин – у него была какая-то фамилия, но я ее не помню – никто не хотел уйти первым, и потому они сидели на стульях у постели мадам Розы. Они даже поговорили про войну во Вьетнаме, потому что это нейтральная тема.

У мадам Розы ночь прошла хорошо, а я вот глаз не мог сомкнуть, лежал, глядел в темноту, думал о всяком разном и все пытался прикинуть, как быть.

Утром пришел доктор Кац для периодического осмотра мадам Розы, и, когда после мы вышли на лестницу, я тут же почувствовал, что беда вот-вот постучится к нам в двери.

– Ее необходимо перевезти в больницу. Она не может оставаться здесь. Я вызываю «скорую помощь» .

– Ну и что они смогут сделать для нее в больнице?

– Там она получит надлежащий уход. Она сможет прожить еще некоторое время, а может, даже и больше. Я знал людей в ее состоянии, которым удалось протянуть несколько лет.

Дело хреново, подумал я, но доктору ничего не сказал. Некоторое время я не решался, но потом все-таки спросил:

– Скажите, доктор, а вы не можете устроить так, чтобы евреи ее абортировали?

Он выглядел искренне удивленным:

– Как это абортить? Что ты такое говоришь?

– Ну, абортить – это сделать так, чтобы она перестала жить.

Доктор Кац до того изумился, что ему пришлось сесть. Он обхватил голову руками и долго вздыхал, подняв глаза к небу, как это у них заведено.

– Нет, этого сделать нельзя. Эвтаназия строго-настрого запрещена законом. Мы живем в цивилизованной стране. Ты просто не понимаешь, о чем говоришь.

– Я-то понимаю. Я – алжирец и понимаю, о чем говорю. У них там имеется священное право народов распоряжаться самими собой.

Доктор Кац смотрел на меня так, словно я внушаю ему страх. Он открыл рот и молчал. Иногда просто смех берет, до чего люди не хотят понять друг друга.

– Так священное право народов существует или ни фиги подобного?

– Ну конечно же, оно существует, – ответил доктор Кац и даже, чтобы продемонстрировать свое уважение к нему, встал со ступеньки, на которой сидел. – Конечно же, существует. Это великое и прекрасное право. Но я не вижу, какая связь. . .

– А связь такая, что, если оно существует, мадам Роза имеет священное право народов распоряжаться собой, как и все остальные. И если она хочет, чтобы ее абортывали, это ее право. И сделать это обязаны вы, потому что врач должен быть евреем, чтобы не было никакого антисемитизма. Вы, как еврей, не должны заставлять страдать других евреев. Это безобразно.

Доктор Кац дышал все чаще и чаще, у него даже пот выступил на лбу, до того я классно говорил. Да, это в первый раз, когда я по-настоящему был старше на четыре года.

– Дитя мое, ты не понимаешь, что говоришь, совершенно не понимаешь.

– Я не ваше дитя, и вообще я ничье дитя. Я – сын шлюхи, мой отец убил мою мать, а когда знаешь такое, знаешь все и перестаешь быть ребенком.

Доктора Каца трясло, с таким изумлением глядел он на меня.

– Кто тебе это сказал, Момо? Кто наговорил тебе таких вещей?

– Неважно, кто мне это сказал, доктор Кац, потому что иногда лучше вообще не иметь отца, поверьте моему большому опыту, и как я уже имел честь, если говорить словами мосье Хамиля, кореша мосье Виктора Гюго, которого вы не можете не знать. И не глядите на меня так, доктор Кац, не будет у меня никакого приступа бешенства, я не психический, и нет у меня никакой наследственности, я не собираюсь убивать мою мамочку-шлюху, потому что это уже сделано, прими, Господи, ее шахну, которая много добра творила на этой земле, и вообще все вы мне остохренели, кроме мадам Розы, она единственная, кого я тут люблю, и я не позволю сделать ее чемпионом мира по растительному существованию, чтобы доставить удовольствие медицине, и, когда я напишу своих отверженных, я скажу все, что хочу, никого не пришивая, потому что как это одно и то же, но если бы вы были не старым бессердечным жидом, а настоящим

евреем, у которого в груди сердце, а не какой-то там орган, вы совершили бы доброе дело и немедленно абортировали мадам Розу, чтобы избавить ее от жизни, остосолопевшей ей из-за отца, никому не известного, у которого даже лица нету, так старательно он скрывается, и его даже представить невозможно, потому что существует целая мафия, чтобы не дать его прихватить, и потому все, что происходит с мадам Розой, – это преступление и приговор сучьим потрохам врачам за их отказ помочь. . .

Доктор Кац стоял жутко бледный, и это здорово сочеталось с его красивой белой бородой и глазами, по которым было видно, что он сердечник, но я остановился, потому что если бы он умер, то никогда бы не услышал все, что когда-нибудь я ему выскажу. Однако ноги не держали его, и я помог ему сесть на ступеньку, хотя никого и ничего не думал прощать. Он прижимал руку к сердцу и смотрел на меня точь-в-точь так, будто был кассиром банка и умолял меня не убивать его. Но я лишь скрестил руки на груди и чувствовал себя как народ, обладающий священным правом распоряжаться самим собой.

– Малыш Момо.» малыш Момо. . . послушай. . .

– Кончился малыш Момо. Ну так что, да или ни фи́га?

– Я не имею права совершить это. . .

– Значит, вы не хотите ее абортировать?

– Это невозможно, эвтаназия суровейшим образом карается. . .

Уписаться можно. Хотелось бы мне знать, что не карается суровейшим образом, особенно когда карать нечего.

– Ее нужно положить в больницу, это гуманный акт. . .

– А меня вместе с нею вы положите в больницу?

Это его немножко приободрило, и он даже улыбнулся:

– Ты добрый мальчик, Момо. Конечно нет, но ты сможешь навещать ее. Но только очень скоро она перестанет узнавать тебя. . .

Он попытался перевести разговор:

– Да, кстати, а что будет с тобой, Момо? Ты же не можешь жить один.

– За меня не беспокойтесь. Я знаю кучу шлюх на площади Пигаль. У меня уже много предложений.

У доктора Каца отвалилась челюсть, он посмотрел на меня, сглотнул, а потом вздохнул, как они это все делают. А я задумался. Надо выиграть время, вот что сейчас главное.

– Слушайте, доктор Кац, не звоните пока в больницу. Дайте мне еще несколько дней. Может, она и сама умрет. И потом, мне надо устроиться. А иначе меня запрячут в приют.

Он опять вздохнул. Нет, правда, каждый вдох у него становился вздохом. У меня уже вот где сидели все эти вздыхающие.

Он опять посмотрел на меня, но уже не так:

– Ты, Момо, всегда был ребенком не таким, как все. И человеком ты будешь не таким, как другие, я это всегда знал.

– Спасибо, доктор Кац. Очень мило, что вы мне это сказали.

– Но я и правда так думаю. Ты всегда будешь очень отличаться от других.

Я на секунду задумался.

– Может, это потому, что отец у меня был психическим?

Вид у доктора Каца был больной, так он плохо выглядел.

– Вовсе нет, Момо. Я совсем не это хотел сказать. Ты еще слишком мал, чтобы понять, но. . .

– Никогда ни для чего не бываешь слишком мал, доктор Кац, поверьте моему большому опыту.

Похоже, он был удивлен:

– Где ты подцепил это выражение?

– Так всегда говорит мой друг мосье Хамиль.

– А, ну да. Ты очень умный мальчик, очень впечатлительный, даже слишком впечатлительный. Я всегда говорил мадам Розе, что ты никогда не будешь похож на других. Иногда из таких получаются великие поэты, великие писатели, а иногда. . . – Он вздохнул. – . . . А иногда – бунтари. Но можешь быть спокоен, это вовсе не значит, что ты не будешь нормальным человеком.

– Очень надеюсь, доктор Кац, что я никогда не стану нормальным, потому что нормальные всегда только подонки. И я сделаю все, чтобы не стать нормальным.

Он снова встал, и я подумал, что сейчас самый момент кое о чем его спросить, а то все это уже начинало меня здорово беспокоить.

– Скажите, доктор, а вы уверены, что мне четырнадцать лет? Не двадцать, не тридцать, а то и не больше? Сперва мне говорили – десять, потом – четырнадцать. Не кроется ли тут еще какая-нибудь подлянка? Может, я, не приведи Бог, какой-нибудь затрюханный карлик? Мне очень не хочется, доктор, быть карликом, неважно, нормальным или не похожим на других.

Доктор Кац улыбнулся в бороду; он был счастлив, что может наконец-то сообщить мне по-настоящему приятную новость:

– Нет, Момо, ты не карлик, даю тебе слово врача. Тебе четырнадцать лет, но мадам Роза хотела как можно дольше удержать тебя при себе, она боялась, что ты оставишь ее, и вот она убедила тебя, что тебе еще только десять. Мне, наверно, надо было немножко раньше сказать тебе правду, но. . . – Он улыбнулся, и оттого вид у него стал еще печальней. – . . . Но поскольку это была очень красивая история любви, я ничего тебе не говорил. Ну, а с мадам Розой я могу подождать еще несколько дней, но, думаю, ее все-таки необходимо положить в больницу. Мы не имеем права, как я уже тебе объяснял, прекратить ее страдания. А пока заставляй ее делать всякие упражнения, заставляй вставать, двигаться, ходить понемножку по комнате, потому что иначе у нее появятся пролежни, которые перейдут в гнойники. Ей нужно хоть понемножку, но двигаться. Так что дня два-три, но не больше. . .

Я позвал одного из братьев Заумов, и тот на спине снес его по лестнице.

Доктор Кац еще жив, и как-нибудь я схожу повидать его.

Я немножко посидел один на лестнице, чтобы успокоиться. При всем при том я был рад узнать, что я никакой не карлик, это уже было кое-что. Как-то я видел фото одного мосье – он инвалид, и у него нет ни рук ни ног. Я часто думаю о нем, ну, для того чтобы почувствовать, что мне все-таки лучше, чем ему, и радуюсь, что у меня есть руки-ноги. А потом я вспомнил про упражнения, которые нужно заставлять делать мадам Розу, чтобы она хоть немножко двигалась, и пошел поискать мосье Валумбу, но он еще не пришел с работы по уборке мусора. Весь день я оставался с мадам Розой, она гадала на картах, чтобы узнать свое будущее. А когда мосье Валумба вернулся с работы, то вместе со своими друзьями поднялся к нам, и они стали заниматься с мадам Розой упражнениями. Сперва они прогуливали ее по комнате, потому что ноги у нее еще действовали, а потом положили на одеяло и стали раскачивать, чтобы у нее внутри все немножко встряхнулось. В конце они даже повеселились: мадам Роза была ну прямо как огромная кукла, и было впечатление, будто они играют в какую-то игру. На нее это подействовало очень хорошо, и она для каждого нашла приятные слова. Потом мы ее уложили, покормили, и она попросила зеркало. Глянув на себя в зеркало, она заулыбалась и привела в порядок те тридцать пять волосинок, что у нее еще остались. Мы все поздравили ее с тем, что она так здорово выглядит. Она наштукатурилась, потому как женщина в ней еще не умерла; можно быть страхолюдной, но все равно пытаться выглядеть покрасивей. Жаль, что мадам Роза не была уже красивой, ведь у нее был талант по части штукатуриться, так что она могла бы сделать из себя большую красотку. Она улыбалась зеркалу, и мы все были рады, что настроение у нее не испортилось.

Потом соплеменники мосье Валумбы приготовили для нее рис с красным перцем; они сказали, что рис надо как следует наперчить, чтобы кровь бежала быстрее. Вскоре появилась мадам Лола, а всякий раз, когда приходил этот сенегалец, впечатление было, будто засияло солнце. Единственное, что меня печалит, когда я думаю о мадам Лоле, так это то, что она мечтает пойти и дать все у себя спереди отрезать, чтобы стать по-настоящему женщиной; так она говорит. Я считаю, это уже чересчур, и все время боюсь, как бы она не причинила себе какого-нибудь вреда.

Мадам Лола подарила мадам Розе одно из своих платьев, потому что она понимала, какое значение имеет для женщин настроение. А еще она принесла шампанского, и это было классно. Она опрыскала мадам Розу духами; в этом все чаще появлялась необходимость, потому что мадам Роза все хуже управлялась со своими выпускными отверстиями.

У мадам Лолы от природы веселый характер, которым ее благословило солнце Африки, и было одно удовольствие смотреть, как она сидит на кровати положив ногу на ногу, одетая по самой последней моде. Для мужчины мадам Лола очень красива, если не обращать внимания на голос, который у нее еще с тех пор, когда она была чемпионом по боксу в тяжелом весе, но тут уж она ничего не может поделать, потому что голос связан с яйцами, и это самая большая печаль в ее жизни. А со мной был зонтик Артюр; я не хотел с ним резко расставаться, несмотря на то что стал на четыре года старше. У меня есть полное право привыкать постепенно; ведь другие стареют очень долго, год за годом, так что не надо меня торопить.

Мадам Роза очень быстро оправилась, так что смогла встать и даже сама походила по комнате; это было улучшение, и у всех появилась надежда. Когда мадам Лола, помахивая сумочкой, отправилась на работу, мы поужинали, и мадам Роза попробовала цыпленка, которого ей прислал мосье Джамали, известный хозяин бакалейной лавки. Сам-то мосье Джамали помер, но при жизни у него и мадам Розы были самые лучшие отношения, и теперь его семья принимала участие. Потом она выпила немножко чаю с джемом, и вид у нее стал такой

мечтательный, что я перепугался, решив, что это новый приступ опупелости. Но днем ее так здорово покачали на одеяле, что кровь у нее бежала как нужно и доходила, как положено, до головы.

– Момо, скажи мне всю правду.

– Мадам Роза, я не знаю всей правды и не знаю никого, кто бы знал ее.

– Что тебе сказал доктор Кац?

– Сказал, что вас нужно положить в больницу, там будут вами заниматься и не дадут умереть. Вы сможете еще долго прожить.

Сердце у меня сжималось, когда я все это выкладывал ей, но я даже попытался улыбаться, как будто сообщал ей радостную весть.

– Как у них называется эта моя болезнь?

Я сглотнул слюну.

– Это не рак, мадам Роза, в этом я вам клянусь.

– Момо, как она называется у врачей?

– С этим можно еще долго жить.

– С чем с этим?

Я молчал как вкопанный.

– Момо, ты же не будешь мне врать? Я старая еврейка, и со мной уже делали все, что только можно сделать с человеком. . .

Она сказала *мениш*, по-еврейски это «человек», все равно, мужчина или женщина.

– Я хочу знать. Есть вещи, которые никто не имеет права делать с человеком. Я знаю, что бывают дни, когда у меня голова совсем не работает.

– Это ничего, мадам Роза, очень даже неплохо можно жить и так.

– Как – так?

Я не смог сдержаться. Внутри меня душили слезы. Я бросился к ней, она обняла меня, и я заверещал:

– Как растение, мадам Роза, как растение! Они хотят заставить вас вести растительное существование!

Она ничего не сказала. Только чуть-чуть вспотела.

– Когда они приедут за мной?

– Не знаю. Может, через день, может, через два. Доктор Кац вас очень любит, мадам Роза. Он пообещал мне, что нас разлучат, только когда уже совсем будет невозможно.

– Я не поеду, – сказала мадам Роза.

– Я не знаю, что делать, мадам Роза. Все – гады и сволочи. Они не хотят вас абортировать. Выглядела она очень спокойной. Попросила только подмыться, потому что обмочилась.

Сейчас, когда я думаю о ней, то нахожу, что она была очень красивая. Все ведь зависит от того, как думаешь о человеке.

– Настоящее гестапо, – произнесла она.

И после этого не сказала больше ни слова.

Ночь была холодная, и я встал, чтобы накрыть ее вторым одеялом.

Проснулся я довольный вчерашним днем. Проснувшись, сперва ни о чем не думал, и это было приятно. Мадам Роза была жива, и она мне даже улыбнулась, чтобы показать, что все хорошо; у нее лишь болела печенка, в ней сидел гепатит, и левая почка, которая очень тревожила доктора Каца; было и другое, что работало не как положено, но не мне вам все это рассказывать, потому что я в этом ничего не понимаю. На улице было солнце, и я раздвинул занавески, но мадам Роза этого не любила, потому что при свете лучше видела себя и оттого расстраивалась. Она взяла зеркало и сказала только:

– Момо, какая же я стала страшная.

Я жутко разозлился, потому что никто не имеет права плохо говорить о старой и больной женщине. Я считаю, что нельзя судить всех одинаково, например бегемотов или там черепах, которые не такие, как все остальные.

А мадам Роза прикрыла глаза, и у нее текли слезы, только вот не знаю, это оттого, что она плакала или у нее просто ослабли мышцы.

– Я знаю, я ужасно выгляжу.

– Мадам Роза, это всего лишь потому, что вы не похожи на других.

Она посмотрела на меня:

– Когда они приедут за мной?

– Доктор Кац. . .

– Я не желаю слышать про доктора Каца. Он хороший человек, но он не знает женщин. Я была красивой, Момо. У меня была лучшая клиентура на улице Прованс. Сколько денег у нас осталось?

– Мадам Лола оставила мне сто франков. Она еще даст. Она очень хорошо зарабатывает.

– Я бы никогда не стала работать в Булонском лесу. Там же подмыться негде. Вокруг Центрального рынка были гостиницы очень хорошего разряда, со всей гигиеной. А в Булонском лесу еще и опасно из-за маньяков.

– Мадам Лола любому маньяку своротит морду на сторону. Вы же сами знаете, она была чемпионом по боксу.

– Она святая. Даже не знаю, что бы с нами без нее было.

Потом она захотела прочесть еврейскую молитву, которой ее научила мать. Я жутко перепугался, боялся, что она впала в детство, но перечить ей не стал. Вот только она не могла вспомнить слова, из-за того что у нее мозги размягчились. Когда-то она учила этой молитве Мойше, ну и я тоже выучился, потому что тогда жутко не любил, если они чем-нибудь занимались без меня. Так что я стал читать:

– Shma Israel adenoï elochinou adenoï ekhot bouroukh shein kweit malhousse loeilem boet. . .\*

Она повторяла вместе со мной, а потом я побежал в сортир и трижды сплюнул – тьфу, тьфу, тьфу, – как делают евреи, потому что это не моя религия. Она попросила меня одеть ее, но я не мог сам это сделать и побежал в негритянскую общагу, где нашел мосье Валумбу, мосье Сокуро, мосье Тане и еще других, но я уж не стану перечислять вам их фамилии, хотя все они там страшно славные люди.

---

\*Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один! Благословенно имя славы царства Его. . . (иврит.)



А когда мы поднялись к нам, я в тот же миг увидел, что мадам Роза опять ничего не соображает: глаза у нее были как у вареной трески, рот приоткрыт, и из него текла слюна, как я уже имел честь, так что возвращаться к этому не стану. Я тут же вспомнил, что говорил доктор Кац насчет упражнений, которые нужно делать с мадам Розой, чтобы встряхнуть все у нее внутри и чтобы кровь текла во все места, где она нужна. Мы быстренько положили мадам Розу на одеяло, и друзья мосье Валумбы стали подбрасывать ее, но в этот момент на спине старшего мосье Заума прибыл доктор Кац с медицинскими инструментами в докторском саквояже. Еще даже не спустившись со спины мосье Заума-старшего, он начал страшно ругаться, потому что имел в виду вовсе не это. Никогда я не видел доктора Каца в такой ярости; ему даже пришлось сесть, и он схватился за сердце, потому как все здешние евреи больны: в Бельвиль они приехали из Европы давным-давно, все они старые и усталые и поэтому остались тут и не смогли поехать дальше. Он со страшной силой изругал меня, всех нас обозвал дикарями, чем довел мосье Валумбу, который заметил ему, что это оскорбление. Доктор Кац извинился, сказав, что никого не хотел унижить, но он прописывал не подбрасывать мадам Розу в воздух, как блин на сковородке, чтобы встряхнуть ее, а медленно прогуливать взад-вперед по комнате, причем с тысячей предосторожностей. Мосье Валумба и его собратья тут же усадили мадам Розу в кресло, потому что из-за ее естественных потребностей надо было поменять простыни.

– Я звоню в больницу, – объявил категорически доктор Кац. – Прошу немедленно прислать «скорую помощь». Этого требует ее состояние. Ей необходим постоянный медицинский уход.

Я уж готов был расплакаться, потому что понимал: что бы я ни говорил, все будет впустую. И тут в голову мне пришла гениальная идея, потому как я уже был готов на все.

– Доктор Кац, ее нельзя отправлять в больницу. Тем более сегодня. Сегодня к ней приедут родственники.

Похоже, он здорово удивился:

– Какие родственники? У нее же никого на свете нету.

– У нее есть родственники в Израиле, и... – Я сглотнул слюну. – Они сегодня приезжают.

Доктор Кац почтил память об Израиле минутой молчания. Он был ошеломлен.

– А я и не знал, – произнес он, и теперь в голосе его чувствовалось почтение, потому что для евреев Израиль – это я вам скажу. – Она никогда не вспоминала о них.

У меня появилась надежда. Я сидел в углу в пальто, прижимая к себе Артюра, то есть мой зонтик, и тут же надел шляпу-котелок, надеясь, что мне будет и дальше везти.

– Они сегодня приедут к ней. Они заберут ее в Израиль. Все уже устроено. Русские дали ей визу.

Доктор Кац ошарашенно глянул на меня:

– Как «русские»? Что ты плетешь?

Вот гадство, я же чувствовал, что ляпнул что-то не то, но ведь мадам Роза много раз повторяла, что нужна русская виза, чтобы поехать в Израиль.

– Ну вы понимаете, что я хочу сказать...

– Ты что-то перепутал, Момо, но я понимаю... Значит, они приезжают за ней?

– Да. Они узнали, что у нее не в порядке с головой, и вот приезжают, чтобы отвезти в Израиль. Уже завтра улетят на самолете.

Доктор Кац был страшно обрадован, он поглаживал бороду, и, должен сказать, это самая лучшая мысль, которая когда-либо приходила мне в голову. Нет, это первый раз, когда я по-настоящему был старше на четыре года.

– Они очень богатые. У них там магазины и даже машина есть.

Опять ляпнул, нельзя же нести все, что на язык подворачивается.

– В общем, у них есть все, что нужно.

– Тц-тц-тц. . . – зацокал доктор Кац, покачивая головой. – Прекрасная новость. Бедная женщина столько в своей жизни страдала. . . Но почему же они раньше не подавали никаких признаков жизни?

– Да нет, они ей писали, приглашали приехать, но мадам Роза не хотела оставлять меня. Мы с мадам Розой не можем друг без друга. Это все, что у нас есть в целом свете. Она не хотела расставаться со мной. Еще вчера мне пришлось умолять ее ехать. Мадам Роза, поезжайте к вашим родственникам в Израиль. Там вы спокойно умрете, они будут заботиться о вас. Здесь вы никто. А там вы будете человеком.

Доктор Кац глядел на меня, разинув рот от удивления. Глаза у него увлажнились, и по ним было заметно, как он взволнован.

– Это первый случай, когда араб посылает еврея в Израиль, – произнес он, и чувствовалось, что ему даже трудно говорить, до того он был потрясен.

– Она не хотела уезжать без меня.

Доктор Кац задумался.

– А почему вы не можете поехать туда вдвоем?

Это был удар под дых. Да я бы не знаю что отдал, только бы уехать куда-нибудь.

– Мадам Роза сказала, что она там разузнает, что да как.

У меня уже голос почти пропал, потому как я не знал дальше, что плести.

– В конце концов она согласилась. Они сегодня приедут за ней, а завтра улетят.

– Мохаммед, а как же ты? Что будет с тобой?

– Ну-у. . . я знал, что мне придется уйти, и кое-что подыскал здесь.

– Что?

Ну что я ему мог ответить? Я вляпался в такое дерьмо, что и не представлял, как из него выбраться.

Мосье Валумба и его соплеменники были страшно довольны тем, что я все устроил. А я сидел на полу со своим зонтиком Артюром, и голова у меня шла кругом. Я уже вообще ничего не знал, да и, по правде, знать не хотел.

Доктор Кац встал:

– Ну что ж, это очень хорошая новость. Мадам Роза может прожить еще долго, пусть даже она и не будет этого сознавать. Болезнь развивается очень быстро. Но у нее будут моменты просветления, и она будет счастлива видеть рядом своих родственников и знать, что она дома. Скажи ее родственникам, чтобы они заглянули ко мне, я, ты же знаешь, из дому не выхожу.

Он положил мне руку на голову. Нет, это просто с ума сойти, сколько на свете людей кладут мне руку на голову. Им это приятно.

– Если мадам Роза до отлета придет в себя, скажи, что я ее поздравляю.

– Хорошо, я скажу ей от вас *мазлтов*.

Доктор Кац с гордостью глянул на меня:

– Момо, ты, наверно, единственный араб в мире, который говорит на идиш.

– Да, *митторништ зорген*.

На тот случай, если вы не знаете еврейского, у них это означает: жаловаться не на что.

– Не забудь передать мадам Розе, что я счастлив за нее, – повторил доктор Кац, и это уже последнее, что я могу рассказать вам о нем, потому что такова жизнь.

Мосье Заум-старший вежливо ждал в дверях, чтобы снести его вниз. Мосье Валумба и его соплеменники уложили мадам Розу на чистую постель и тоже ушли. А я в пальто и с Артюром

сидел и смотрел на мадам Розу, которая лежала, точно огромная черепаха, перевернутая на спину.

– Момо. . .

Я даже голову не поднял.

– Да, мадам Роза.

– Я все слышала.

– Знаю, я видел, что вы смотрите.

– Так что же, меня увезут в Израиль?

Я молчал. Опустил голову, чтобы не видеть ее, потому что всякий раз, как я на нее смотрел, мне становилось худо.

– Ты все хорошо устроил, мой маленький Момо. Ты мне поможешь.

– Само собой, мадам Роза, я помогу вам, но только не сейчас.

Я даже немножко поплакал.

День у нее прошел нормально, и она хорошо спала, но на завтра под вечер все стало совсем плохо, когда пришел управляющий домом, потому что мы уже несколько месяцев не платили за квартиру. Он заявил, что это стыд и позор держать в квартире старую больную женщину без всякого ухода и что из гуманных соображений ее нужно поместить в богадельню. Это был лысый толстяк с тараканьими глазами, и, уходя, он объявил, что немедленно позвонит насчет мадам Розы в больницу, а насчет меня в приют. Надо сказать, у него были большие усищи, и он шевелил ими. Я кубарем скатился по лестнице и догнал управляющего уже в кафе мосье Дриса, куда он зашел, чтобы позвонить. Я сообщил ему, что завтра приезжают родственники мадам Розы, чтобы увезти ее в Израиль, и что я тоже уезжаю с ней. Так что квартира освобождается, и он может забирать ее. Тут мне пришла гениальная мысль, и я сказал, что родственники мадам Розы заплатят ему за три месяца, что мы задолжали, а вот больница не заплатит ничего. Можете мне поверить, четыре года, которые мне прибавились, это большое дело, и я привык быстро соображать как надо. И еще я обратил его внимание на то, что если он отправит мадам Розу в больницу, а меня в приют, то против него ополчатся все евреи и все арабы в Бельвиле, потому что он не дал нам вернуться на землю предков. Я все очень красочно описал и пообещал, что ему забьют его khlaoui в рот, потому что так всегда делают еврейские террористы, а страшней их нет никого, кроме моих арабских братьев, которые борются за то, чтобы самим распоряжаться собственной судьбой и вернуться на свои земли, так что если он поступит так с мадам Розой и со мной, то против него будут и еврейские и арабские террористы, и он может быть уверен, что узнает, какого вкуса его собственные яйца. Все на нас смотрели, и я был страшно доволен собой, я по-настоящему был в олимпийской форме. Я находился в жутком отчаянии, готов был убить этого гада, и в кафе никто еще не видел меня в таком состоянии. Мосье Дрис все слышал и дал совет управляющему не соваться в разборки между евреями и арабами, потому что это может ему очень дорого обойтись. Сам мосье Дрис тунисец, но у них там тоже есть арабы. Управляющий стал белый как мел и сказал нам, что не знал о нашем возвращении на землю предков и что он первый радуется за нас. Он даже спросил, не хочу ли я чего-нибудь выпить. Меня впервые угощали как мужчину. Я заказал коку, пожелал всем здоровья, а потом вернулся к себе на седьмой этаж. Времени оставалось в обрез.

Мадам Роза была в своем опупелом состоянии, но я видел, что ей страшно, а это был знак, что голова у нее работает. Она произнесла мое имя, как будто звала на помощь.

– Я здесь, мадам Роза, я здесь. . .

Она пыталась что-то сказать, губы у нее шевелились, голова тряслась, и она предпринимала страшные усилия, чтобы быть человеческим существом. Но все это привело только к тому, что глаза у нее становились все больше и круглей; она сидела с открытым ртом, положив руки на подлокотники кресла, и смотрела прямо перед собой, словно она уже слышала звонок.

– Момо. . .

– Успокойтесь, мадам Роза, я не позволю сделать из вас в больнице чемпиона мира по растительному существованию. . .

Не помню, говорил ли я вам, что мадам Роза держала под кроватью портрет мосье Гитлера, и, когда дела были совсем никуда, она вытаскивала его, смотрела, и все сразу становилось не так страшно. Так вот, я достал из-под кровати этот портрет и сунул ей под нос.

– Мадам Роза, мадам Роза, посмотрите-ка, кто это. . .

Мне пришлось ее встряхнуть. Она чуть вздохнула, увидела перед собой лицо мосье Гитлера, сразу же узнала и даже вскрикнула; короче, она пришла в себя и даже попыталась встать.

– Поторопитесь, мадам Роза, нам надо уходить. . .

– Они что, едут?

– Еще нет, но отсюда нужно уходить. Вас повезут в Израиль, вы помните?

Она тут же начала двигаться, потому как на стариков лучше всего действуют воспоминания.

– Помогите мне, Момо. . .

– Не спешите, мадам Роза, время еще есть, они еще не позвонили, но оставаться здесь больше нельзя.

Я намучился, одевая ее, а вдобавок еще она захотела навести красоту, и мне пришлось держать перед ней зеркало, пока она штукатурилась. Не знаю, почему она решила надеть все самое лучшее, что у нее было, но это чисто женское, и тут с женщинами спорить бесполезно. В шкафу у нее была дикая куча самых невероятных шмоток, которые она покупала на блошином рынке, когда у нее еще водились башли, но не для того, чтобы носить, а чтобы мечтать, как она их наденет. Правда, единственное, во что она влезала, было ее красивое японское кимоно с птицами, цветами и восходящим солнцем. Кимоно было красно-оранжевого цвета. Она еще надела парик и захотела посмотреться в зеркало шкафа, но я ей не дал: не стоило ей себя видеть.

Когда мы наконец вышли на лестницу, было уже одиннадцать вечера. Я никогда бы не поверил, что мадам Роза сможет это сделать. Я не знал, осталось ли у нее еще сил, чтобы добраться до своего еврейского логова. Раньше я и в голову не брал это ее еврейское логово. И не понимал, зачем она его устроила, почему время от времени спускается туда, садится, оглядывается, вздыхает. А вот теперь понял. Все-таки не так уж я много прожил, чтобы иметь достаточно опыта, и даже сейчас, когда я говорю с вами, я знаю: можно нарасказывать чего угодно, но все равно останется что-то, чтобы узнать потом.

Выключатели на лестнице работали плохо, и свет все время гас. На пятом этаже мы наделали шума, и мосье Зиди, который приехал к нам сюда из Ужды, вышел посмотреть, в чем дело. Увидев мадам Розу, он застыл с разинутым ртом, как будто никогда в жизни не видел японского кимоно, и быстренько захлопнул дверь. А на четвертом этаже мы встретились с мосье Мимуном, который продает на Монмартре жареные арахис и каштаны и скоро собирается

вернуться со сколоченными башлями в Марокко. Он остановился, поднял глаза и спросил:

– Господи, что это?

– Это мадам Роза. Она отправляется в Израиль.

Он задумался, потом подумал еще и все так же испуганно спросил:

– А почему они так ее одели?

– Не знаю, мосье Мимун, я не еврей.

Мосье Мимун судорожно вздохнул:

– Я знал многих евреев. Они так не одеваются. Так вообще никто не одевается. Это невозможно.

Он вытащил платок, вытер лоб, а потом помог свести мадам Розу по лестнице, потому что понял: одному мне не справиться. Внизу ему захотелось знать, где ее вещи и не простудится ли она, ожидая такси; он вообще страшно разволновался и кричал, что нельзя отправлять женщину в таком состоянии к евреям. Я предложил ему подняться на седьмой и поговорить с родственниками мадам Розы, которые там занимаются багажом, и он тут же свалил, пробурчав, что ему только не хватает отправлять евреев в Израиль. Мы остались внизу одни, но надо было торопиться: чтобы попасть в подвал, предстояло еще спуститься на целый пролет.

Когда мы туда добрались, мадам Роза рухнула в кресло, и я даже думал, что она сейчас помрет. Она закрыла глаза, у нее не было даже сил дышать; во всяком случае, грудь ее почти не поднималась. Я зажег свечи, сел на пол рядом с ней и взял ее за руку. От этого ей стало чуточку легче, она огляделась вокруг и обратилась ко мне:

– Я всегда знала, Момо, что когда-нибудь эта нора мне пригодится. Теперь я спокойно умру.

– И она мне улыбнулась. – Я не побью мирового рекорда по растительному существованию.

– *Инши'Аллах.*

– Да, Момо, *инши'Аллах.* Ты славный мальчик. Мы всегда с тобой были вместе.

– Да, мадам Роза, так все-таки лучше, чем когда нет никого.

– А сейчас, Момо, прочитай мне мою молитву. Сама я уже, наверно, не смогу.

– *Shma Israel adenoï. . .*

Она повторяла ее следом за мной всю вплоть до *loeilem boet* и выглядела очень довольной. Потом она еще с час была в хорошем состоянии, а потом все пошло худо. Ночью она что-то бормотала по-польски, потому как детство провела в Польше, а затем принялась твердить фамилию какого-то парня Блюментага, который, наверно, был сотинером я которого она знала, когда еще была женщиной. Нет, я теперь знаю, что говорить нужно «сутенер», но у меня уже привычка. Ну, а после она вообще ничего не говорила, а только сидела, уставясь пустыми глазами на стену, да ходила под себя по большому и по малому.

Могу вам сказать только одно: так быть не должно. Я говорю все, как думаю. Мне никогда не понять, почему абортить можно только маленьких, а стариков нельзя. Я считаю, что тому типу из Америки, который установил мировой рекорд по растительному существованию, было куда хуже, чем Иисусу, потому что этот тип оставался на своем кресте целых семнадцать лет с хвостиком. И считаю, что нет ничего сволочней, чем насильно заталкивать жизнь в горло людям, которые не способны защищаться и уже не хотят ее.

Свечек было много, и я зажег их целую кучу, чтобы было не так темно. Она еще дважды пробормотала: «Блюментаг, Блюментаг», – и меня это уже начало доставать; хотелось бы мне посмотреть на этого Блюментага, который стал бы уродоваться с нею, как я. И тут вдруг я вспомнил, что *блюментаг* по-еврейски «день цветов», так что это мадам Розе, должно быть, снился ее женский сон. Нет ничего сильнее вот этого самого женского. Видно, она, когда еще была молодой, ездила за город, и, может, даже с парнем, которого любила, и это запало ей в память.

– *Блюментэг*, мадам Роза.

Я оставил ее и поднялся наверх за зонтиком Артюром, потому что привык к нему. Позже поднялся еще раз – взять портрет мосье Гитлера: это единственное, что еще могло подействовать на нее.

Я думал, что мадам Роза недолго останется в своем еврейском логове и что Бог сжалится над ней; когда у тебя силы на исходе, в голову приходят самые разные мысли. Время от времени я взглядывал на ее прекрасное лицо, а потом вспомнил, что забыл ее косметику и все, что она любила, чтобы становиться женщиной, и в третий раз поднялся на седьмой этаж; хоть это мне порядком надоело, но мадам Роза была по-настоящему требовательной.

Я положил матрац рядом с нею, но не мог сомкнуть глаз, потому что боялся крыс, которые в подвалах всем известно какие зловредные, но никаких крыс не было. Я даже не заметил, как заснул, а когда проснулся, почти все свечи догорели. У мадам Розы глаза были открыты, но когда я поднес к ней портрет мосье Гитлера, он ее не заинтересовал. Это просто чудо, что в таком состоянии она смогла спуститься сюда.

Когда я вылез на улицу, был уже полдень; я сидел на тротуаре, и, если кто меня спрашивал, как мадам Роза, я отвечал, что она уехала в еврейский очаг в Израиле, за ней приезжали ее родственники, там у нее будут все современные удобства, и она умрет куда быстрее, чем здесь, где вообще для нее была не жизнь. А может даже, она еще немножко проживет и поможет мне переехать туда, потому что я имею право; у арабов тоже есть на это права. Все были рады, что мадам Роза наконец обрела покой. Я зашел в кафе мосье Дриса, который бесплатно накормил меня, и уселся напротив мосье Хамиля; он сидел в своем красивом бело-сером бурнусе у окна. Он уже совсем ничего не видел, как я уже имел честь, но когда я трижды повторил свое имя, он тут же отозвался:

– А, малыш Мохаммед. . . да, да, припоминаю, как же. . . Я хорошо его знал. . . И что с ним стало?

– Это я, мосье Хамиль.

– Да, да, извини меня, глаза у меня совсем отказали. . .

– Как дела, мосье Хамиль?

– Вчера я ел отличный кускус, а сегодня в полдень поем риса с бульоном. Пока не знаю, что буду есть вечером, но было бы очень любопытно узнать.

Он все так же держал руку на Книге мосье Виктора Гюго и смотрел куда-то далеко-далеко, словно пытался высмотреть, чем он будет сегодня ужинать.

– Мосье Хамиль, а можно ли жить и никого не любить?

– Я очень люблю кускус, малыш Виктор, но только если не каждый день.

– Вы меня не поняли, мосье Хамиль. Когда-то, когда я был маленьким, вы мне сказали, что нельзя жить без любви.

Его лицо осветилось изнутри.

– Да, да, правда, когда я был молодой, я тоже любил. Да, ты нрав, малыш. . .

– Мохаммед. Не Виктор.

– Да, малыш Мохаммед. Когда я был молодой, я любил. Любил одну женщину. Ее звали. . .

Он замолк, и вид у него был удивленный.

– Не помню. . .

Я встал и возвратился в подвал. Мадам Роза все так же была в состоянии опупения. Да, опупения, спасибо, в следующий раз я не забуду. Мне в один миг прибавилось четыре года, а это не так просто. Очень скоро я, конечно же, буду говорить как все, можете быть уверены. Чувствовал я себя плохо, и все у меня болело, не сильно, но болело. Я опять поднес к глазам мадам Розы портрет мосье Гитлера, но на нее это никак не подействовало. Я подумал, что так она может жить годы и годы, и мне жутко не хотелось, чтобы так случилось, но у меня не хватало духу самому аборттировать ее. Выглядела она не слишком здорово даже в темноте, а я зажег свечи, все, сколько мог, за компанию. Я взял ее краски, подмазал ей губы и щеки, подвел брови, как она любила. Покрасил ей веки белым и синим и сверху наклеил малюсенькие звездочки, она сама так делала. Попытался приклеить ей фальшивые ресницы, но они не держались. Я видел, что она не дышит, но мне было все равно, я любил ее, даже если она и не дышит. Я лежал рядом с нею, обнимая Артюра, свой зонтик, и старался чувствовать себя еще хуже, чтобы окончательно умереть. Когда все свечи погасли, я зажег новые, а потом опять и опять. И так много раз подряд. Потом появился синий клоун, он пришел повидать меня, несмотря на то что мне прибавилось четыре года, и он обнял меня за плечи. Все у меня болело, и тогда пришел желтый клоун» и я сбросил эти четыре свалившихся на меня года, и мне было плевать на них. Время от времени я вставал и подносил к глазам мадам Розы портрет мосье Гитлера, но это не действовало на нее, она



уже была не с нами. Раза два я ее поцеловал, но это тоже не помогло. Лицо у нее было холодное. По она была такая красивая в своем художественном кимоно, рыжем парике и с накрашенным мною лицом. Я подкрашивал ее то тут, то там, потому что всякий раз, когда я просыпался, лицо ее в каком-нибудь месте оказывалось чуток серым или синим. Спал я около нее на матрасе и боялся выйти из подвала, ведь никого же больше не было. И все-таки я поднялся к мадам Лоле, потому что она совсем другое дело. Но ее не было дома, я пришел не в то время. Оставить мадам Розу одну я боялся, она могла проснуться и, увидев, что вокруг все черным-черно, решить, что она умерла. Я спустился вниз и зажег всего одну свечку, не больше, потому как ей не понравилось бы, если бы она увидела, какой стала. Пришлось снова подкрасить ее румянами и навести всякие другие красивые цвета, чтобы она не разглядела себя. Я немножко поспал около нее и опять поднялся к мадам Лоле, которая была не такая, как все. Мадам Лола как раз брилась; она поставила музыку и жарила яичницу, яичница вкусно пахла. Она разделась до пояса и старательно протиралась, чтобы ликвидировать следы своей работы; голая мадам Лола с бритвой в руке и лицом, покрытым мыльной пеной, это было что-то потрясающее, и мне даже стало немножко лучше. Она открыла дверь и долго не могла вымолвить ни слова, до того, видно, я изменился от этих четырех прибавившихся лет.

– Господи, Момо, что с тобой? Ты болен?

– Я пришел по поручению мадам Розы, она попросила передать вам свое «до свидания».

– Ее что, забрали в больницу?

Я сел, потому что сил стоять у меня уже не было. Не ел я Бог знает уже сколько времени, так что вполне мог сказать, что объявил голодовку. Чихать я хотел на законы природы. Не желаю даже слышать о них.

– Нет, не в больницу. Мадам Роза в своем еврейском логове.

Нельзя мне это было говорить, но я, правда, сразу увидел, что мадам Лола не знает, что это такое.

– Где?

– Она уехала в Израиль.

Для мадам Лолы это была большая неожиданность, она так и встала, разинув рот, вся намыленная.

– Но она никогда даже не заикалась, что собирается уехать.

– Они прилетели за ней на самолете.

– Кто?

– Родственники. У нее там полно родственников. Они прилетели на самолете за нею, и у них была даже машина для нее. «Ягуар».

– И она оставила тебя одного?

– Я тоже уеду туда, она заберет меня.

Мадам Лола снова поглядела на меня и приложила мне ладонь ко лбу:

– Да у тебя жар, Момо!

– Ничего, пройдет.

– Слушай, давай-ка поешь со мной, тебе станет легче.

– Нет, спасибо, я больше не ем.

– Как это – больше не ешь? Что ты такое говоришь?

– Мадам Лола, чихать я хотел на законы природы.

Она рассмеялась:

– Я тоже.

– Мне они вконец остохренели, мадам Лола. Плевал я на них с высокого дерева. Законы природы – это такая сволочность, что, по-честному, их надо было бы запретить.

Я встал. Грудь у нее была большущая, потому что искусственная, такой ни у кого больше не увидишь. Я очень любил мадам Лолу.

Она улыбнулась мне:

– А пока все решится, не хочешь пожить у меня?

– Нет, мадам Лола, спасибо.

Она подошла ко мне, присела на корточки и взяла меня за подбородок:

– Можешь остаться здесь. Я буду заботиться о тебе.

– Нет, мадам Лола, спасибо. У меня уже есть кое-кто.

Она вздохнула, поднялась и стала рыться в сумочке:

– Вот, возьми.

И она сунула мне тридцать кусков.

Я пошел попил воды из крана, потому что чувствовал жуткую жажду.

А потом спустился вниз и закрылся с мадам Розой в ее еврейском логове. Но выдержать там было невозможно. Я вылил на мадам Розу все духи, что еще остались, но запах все равно был невыносимый. Тогда я вышел и отправился на улицу Куле, купил всяких красок и косметики, а также много пузырьков духов в известном парфюмерной магазине мосье Жака; он спит с женщинами, а все время подбивал ко мне клинья. Есть я не собирался – назло всем, но только что бы я ни сказал или ни сделал, какое это имело значение, и я навернул сосисок в пивной. А когда я возвратился, пахло от мадам Розы еще сильнее, и я вылил на нее пузырек духов «Самба», она их любила больше всего. Потом я раскрасил ей лицо всеми красками, которые купил, чтобы его не было видно. Глаза у нее все время были открыты, но, после того как я раскрасил ее красным, зеленым, желтым и синим, это казалось уже не так ужасно, потому что ничего естественного не осталось. Затем я зажег семь свечей, как полагается у евреев, и лег на матрац рядом с ней. Неправда, будто я провел три недели около трупа своей приемной матери, потому что мадам Роза вовсе не была моей приемной матерью. Это неправда, и я бы там просто не выдержал, потому что духи скоро кончились. Я четыре раза выходил и покупал духи на деньги, что мне дала мадам Лола, ну и не меньше того я еще и своровал. Я всю обливал ее, я снова и снова раскрашивал ей лицо разными цветами, чтобы скрыть действие законов природы, но она жутко гнила, потому что законы природы безжалостны. И когда они вышибли дверь, чтобы посмотреть, откуда так несет, и увидели меня лежащим рядом с ней, они разорались, мол, на помощь, какой ужас, но раньше им не приходило в голову орать, потому как жизнь не пахнет. Они отправили меня в больницу, а там в моем кармане нашли листок бумаги с фамилией и адресом. Они позвонили вам, потому что там был и ваш телефон, решив, что вы кем-то приходитеесь мне. Вот так вы приехали и забрали меня к себе за город без всяких обязательств с моей стороны. Думаю, мосье Хамиль, когда у него с головой все было в порядке, был прав, говоря, что нельзя жить, никого не любя, но я вам ничего не обещаю, надо поглядеть. Я любил мадам Розу, и я все время буду видеть ее. Но я хочу побыть у вас какое-то время, потому что ваши дочери просят меня, чтобы я остался. Мадам Надин показала мне, как можно заставить жизнь повернуть назад, и я очень заинтересован и всем сердцем хочу этого. Доктор Рамон даже съездил за моим зонтиком Артюром, я очень горевал, хотя кто бы стал сходить с ума из-за того, что с ним связано, но надо любить.